

Перекрёстки N 1-2/2007

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЙ
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО
ПОГРАНИЧЬЯ



Европейский гуманитарный университет
Центр перспективных научных исследований и образования (CASE), проект «Социальные трансформации в пограничье: Беларусь, Украина, Молдова»

Перекрестки № 1–2/2007
Журнал исследований восточноевропейского пограничья
ISSN 1822-5136

Редакционная коллегия:
Владимир Дунаев (Минск)
Светлана Наумова (Минск)
Павел Терешкович (Минск)
Игорь Бобков (главный редактор) (Минск)
Валентин Акудович (редактор) (Минск)
Татьяна Журженко (Харьков)
Людмила Кожокари (Кишинев)

Научный совет:
Анатолий Михайлов (Беларусь), доктор филос. наук
Наталка Черныш (Украина), доктор социол. наук
Ярослав Грицак (Украина), доктор ист. наук
Виржилию Бырлэдяну (Молдова), доктор ист. наук
Дмитрий Карев (Беларусь), доктор ист. наук
Димитру Молдован (Молдова), доктор экон. наук

Журнал выходит с 2001 г.
Периодичность: ежеквартально

Адрес редакции и издателя:
Европейский гуманитарный университет
Kražiu str. 25, LT-01108
Vilnius Lithuania
E-mail: office@ehu-international.org

Формат 70x108 ¹/₁₆. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Гарнитура «GaramondBookNarrowC».
Усл. печ. л. 15,925. Тираж 299 экз.
Отпечатано: «Petro Ofsetas»
Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius

Авторы статей несут ответственность за предоставленную в статьях точку зрения.

ЕГУ выражает глубокую признательность за помощь и финансовую поддержку проекта
Корпорации Карнеги, Нью-Йорк.

© Европейский гуманитарный университет, 2007
© Центр перспективных научных исследований и образования (CASE)

СОДЕРЖАНИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ

Алесь Смоленчук

ЛИТВИНСТВО, ЗАПАДНОРУСИЗМ И БЕЛОРУССКАЯ ИДЕЯ.
XIX – НАЧАЛО XX в. 5

Татьяна Володина

ИСТОРИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ БОРЬБЫ
ЗА ИДЕНТИЧНОСТЬ ПОГРАНИЧЬЯ.
Деятельность Виленского учебного округа в 1860-е гг. 17

Алла Комзолова

БЮРОКРАТИЯ В УСЛОВИЯХ ПОГРАНИЧЬЯ:
ФОРМИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО АППАРАТА
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ КРАЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
ПОСЛЕ ПОЛЬСКОГО ВОССТАНИЯ 1863–1864 гг. 26

ПЕРЕВОДЫ

Эва Томпсон

ИМПЕРСКОЕ ЗНАНИЕ:
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И КОЛОНИАЛИЗМ 32

ИССЛЕДОВАНИЯ

Анатолий Трофимчик

РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ В. ЛЕНИНА
В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЯХ БССР В 1939–1941 гг. 76

Иоанна Гетка

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ О ЯЗЫКЕ БЕЛАРУСИ
КАК СТРАНЫ ПОГРАНИЧЬЯ 87

ЭССЕ

Олег Бреский

ПОСЛЕДНИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ: ЛЕШЕК КОЛАКОВСКИ	92
--	----

Лешек Колаковски

В ПОИСКАХ ВАРВАРА противоречия культурного универсализма	112
---	-----

Лешек Колаковски

ТЕЗИСЫ О НАДЕЖДЕ И БЕЗНАДЕЖНОСТИ.....	127
---------------------------------------	-----

РЕКОНСТРУКЦИИ

Сергей Харитонович

ВЫСТРАИВАНИЕ ПОГРАНИЧЬЯ: АНАЛИЗ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ИМПУЛЬСОВ	143
--	-----

Ольга Бреская

ВВЕДЕНИЕ В ПОГРАНИЧНУЮ ТЕОРИЮ	156
-------------------------------------	-----

РЕЦЕНЗИИ/ОБЗОРЫ

Ольга Шаталова

КЛАДБИЩЕ И СТОЛ	175
-----------------------	-----

НАШИ АВТОРЫ.....	179
------------------	-----

ЛИТВИНСТВО, ЗАПАДНОРУСИЗМ И БЕЛОРУССКАЯ ИДЕЯ. XIX – НАЧАЛО XX В.

Одним из приоритетных направлений историографии Республики Беларусь является исследование эволюции белорусского движения и формирования национальной идеи. Усилия белорусских исследователей рубежа XX–XXI вв. были плодотворны. Работы А. Кавко, Ю. Туронка, М. Бича, С. Рудовича, О. Латышонка, Е. Мироновича, П. Терешковича, С. Токтя и др. значительно углубили знания о процессе белорусского национально-культурного Возрождения в самой широкой трактовке этого понятия. Но особого внимания заслуживают попытки построения концептуальной схемы развития белорусского национального движения и выработки белорусской национальной идеи на протяжении XIX – начала XX в.

В первую очередь здесь нужно напомнить о схеме, предложенной А. Кавко в энциклопедической статье «Беларускі нацыянальна-вызваленчы рух»¹ (1993). Автор выделил два основных этапа белорусского движения – «начально-подсознательное движение “в себе”, реализованное в основном в рамках польского национально-освободительного процесса (1794–1863)», и движение «для себя» после осознания собственно белорусских национальных интересов (1864–1918). К сожалению, эта концепция не стала предметом дискуссии.

Важным шагом в изучении проблемы следует считать книгу польского исследователя Р. Радзика «Między zbiorowością etniczną a wspólnotą narodową. Białorusini na tle przemian narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej XIX stulecia» (Lublin, 2000). Правда, и она не вызвала широкого обсуждения, хотя стоит отметить рецензию Е. Мироновича, обратившего внимание на отсутствие в авторском перечне зачинателей белорусского Возрождения представителей местной

православной элиты². Также нужно упомянуть книгу И. Марзалюка «Людзі даўняй Беларусі: этнаканфесійныя і сацыякультурныя стэрэатыпы (X–XVII ст.)» (Магілёў, 2003). Автор не считает нацию продуктом эпохи европейской модернизации. Согласно И. Марзалюку, уже в XVI в. «в среде русинской интеллектуальной элиты начинает оформляться концепция объединенной “кровью и почвой”, общим языком и культурой нации, обладающей историческими традициями собственно “русской” государственности»³. Важнейшим фактором этнической самоидентификации И. Марзалюк считает конфессиональную принадлежность. Причем, по его мнению, принятие католицизма означало разрыв со старобелорусским этносом и полную («ментальную и языковую») полонизацию или литуанизацию⁴. Однако, концептуализируя это конфессиональное отмежевание, мы не сможем понять последующего (XIX в.) участия представителей католической шляхты в процессе формирования белорусской идеи*.

Исследование общественно-политической деятельности литовских и белорусских поляков в последнее пятидесятилетие истории Российской империи, стремление понять место и роль «польского вопроса» в белорусской истории заставили обратиться к анализу этнокультурной ситуации на белорусских землях всего XIX в. В результате была выработана определенная схема развития белорусской идеи, представленная в монографии «Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй...»⁵. При этом использовалось понятие «литвинская традиция», введенное в научный оборот С. Куль-Сельверстовой⁶, а также понятия «западнорусская традиция» и «белорусское культурное накопление». Под последним понимались те события культурной жизни, которые способствовали проникновению в культуру элиты белорусского языка и формировали самостоятельное историческое сознание. На этом этапе создавался своего рода культурный фундамент для развития национального движения за культурную и политическую эмансипацию.

Напомню основные моменты предложенной схемы и попытаюсь показать те варианты белорусской национальной идеи, которые были выработаны в начале XX в.

В первой половине XIX в. белорусское культурное накопление происходило в рамках **литвинской традиции**. Литвинство основывалось на исторических и культурных традициях ВКЛ, определенной тенденции к демократизации, которая проявлялась в интересе к народной культуре, на осознании этнокультурного отличия как от русских, так и от поляков из этнической Польши. Оно было частью речпосполитовского патриотизма, хотя и отличалось высокой степенью автономности. По своей конфессиональной принадлежности большинство представителей этой традиции были верующими католического костела, а по сословному состоя-

* Книгу И. Марзалюка основательно проанализировал в своей рецензии Геннадий Саганович. См.: Сагановіч, Г. Прывід нацыі ў імгле стэрэатыпаў / Г. Сагановіч // Беларускі гістарычны агляд. Снежань 2003. Том 10. Сшыткі 1–2 (18–19). С. 281–318.

нию принадлежали к шляхте. Литературные и публицистические сочинения в рамках этой традиции создавались преимущественно на польском, а также на литовском и белорусском языках. Последний передавался на письме латиницей. Центром литвинской традиции являлось Вильно.

У истоков белорусского культурного накопления в рамках литвинской традиции стояла профессура Виленского университета первой трети XIX в. Труды М. Бобровского, И. Даниловича, Ю. Ярошевича, И. Лобойко способствовали формированию самостоятельной литвинской исторической памяти. Не без их влияния возникли товарищества филоматов и филаретов. Традиции этой историографии продолжали братья Тышкевичи, Т. Нарбут и А. Киркор. В литературе одним из наиболее ярких представителей литвинской традиции можно считать А. Мицкевича. Также стоит отметить творчество Я. Барщевского, Я. Чечета, А. Рыпинского, Л. Кондратовича (Владислава Сырокомли) и В. Дунина-Марцинкевича. К этому перечню следует добавить Викентия Константина (Кастуся) Калиновского (1838–1864). Анализ его текстов позволяет утверждать, что и здесь мы встречаемся с проявлением литвинства, по крайней мере в политической сфере.

Одновременно антипольская политика российских властей дала толчок к оформлению **западнорусской культурной традиции**, которая также способствовала процессу белорусского культурного накопления. Характерные черты этой традиции – осознание самобытности Беларуси как «Западной Руси», апелляция к Полоцкому княжеству, высокая оценка роли православной церкви в истории «западнорусских земель», антипольскость и антикатолицизм. По конфессиональной принадлежности большинство представителей западнорусской традиции были униатами, а после 1839 г. – верующими православной церкви. Многие принадлежали к православному духовенству, занимали государственные и военные должности или были связаны с российскими магнатами. Литературные и публицистические сочинения писали по-русски и по-белорусски. Белорусский язык, который чаще всего называли «западнорусским наречием», передавался кириллицей. Западнорусская традиция в первой половине XIX в. развивалась преимущественно на Гомельщине и Могилевщине. Ее представителей А. Цвикевич назвал «белорусофилами в русской культуре»⁷. К ним можно отнести архиепископа Станислава Богуш-Сестранцевича, автора исторического труда «О Западной России» (Могилев, 1793) и гипотетической первой белорусской грамматики⁸, археографа И. Григоровича, историков М. Без-Корниловича и О. Турчиновича, этнографа и филолога П. Шпилевского, автора кириллической «Краткой грамматики белорусского наречия» (1846), и др.

События первой половины 60-х гг. XIX в. оказали сильное влияние на дальнейшую эволюцию процесса белорусского культурного накопления. Отмена крепостного права (1861) и восстание 1863 г. значительно ускорили процесс демократизации общества. Манифест 19 февраля 1861 г. нанес мощный удар по его сословной структуре. Восстание способствовало политической активизации социальных низов независимо от того, на чьей стороне они оказались. Оно же ускорило процесс

ликвидации крепостничества. Весной 1863 г. власти, боясь расширения восстания, разрешили крестьянам Белорусско-Литовского края выкупать землю и выделили на это государственный кредит. Однако эта своеобразная модернизация общества происходила в условиях русификации. Поэтому фактически единственной возможностью легальной общественной деятельности становилось принятие русификаторской политики. Часть социальных низов населения Беларуси воспользовалось ею. Но большинство местной шляхты сделало иной выбор.

Раньше, когда существовала возможность легальной общественно-культурной работы в пользу Беларуси и Литвы, сформировался определенный тип общественного работника края (А. Киркор, Е. Тышкевич и др.). После восстания легальные возможности такой работы исчезли. Поэтому большинство представителей местной полонизированной элиты начали ориентироваться на Польшу и ее культурные потребности. Фундамент из-под литвинской традиции также выбивала полная русификация официальной системы образования и запрет печати на польском, литовском и белорусском (1859) языках латиницей.

Между тем российские власти активно разыгрывали «белорусскую карту». В правительственных статистиках наряду с названиями «великороссы» и «малороссы» начал использоваться термин «белорусы»⁹. Расширялось употребление термина «Белоруссия». В 1869 г. власти разрешили печатать на белорусском языке «гражданкой» этнографические сборники. В 60–70-е гг. XIX в. при активном участии официальных кругов была разработана т.н. «теория западнорусизма». Согласно ей, Беларусь являлась культурной и государственной частью России, а белорусы – ответвлением русского этноса. Историк М. Коялович в своих трудах доказывал, что Украина и Беларусь исторически неотъемлемые части России как территориально, так и этнически. Этнографические особенности белорусских земель объяснялись польскими влияниями и подлежали ликвидации. Последним эта теория существенно отличалась от западнорусской культурной традиции.

Усилить западнорусизм должны были многочисленные научные исследования народной культуры белорусов, развернувшиеся при поддержке правительства в 60–70-е гг. XIX в. Ученые (И. Носович, М. Дмитриев, Ю. Крачковский, А. Сементовский и др.) действительно стремились к этому. Однако на деле их исследования только подтверждали существование самостоятельного белорусского этноса.

Особого внимания заслуживают «Разказы на белорусском наречии» (1863). О. Латышонок, автор полной публикации «Разказов...» в современной белорусской печати и комментариев к ним считает, что это была первая попытка «привести национальную белорусскую мысль в учебнике, который должен был пройти российскую цензуру»¹⁰. Историк обратил внимание на то, что в тексте Полоцкое государство трактуется как отдельное от Киевской Руси, автор* почти не упоминает Московское государство и утверждает самостоятельность белорусского народа

* В качестве вероятного автора «Разказов...» О. Латышонок называет педагога и литератора Игната Кулаковского (1800–1870).

(«...мы сами по себе народ особый: Белоруссы»¹¹). Возможно, «Разказы...» являлись также одним из первых документов, засвидетельствовавших постепенное оформление собственно **белорусской культурной традиции**. Ее фундаментом стал процесс белорусского культурного накопления, происходившего в рамках литвинской и западнорусской культурных традиций. Белорусская культурная традиция в определенном смысле была сочетанием литвинства и западнорусизма.

Рождение белорусской культурной традиции сопровождалось попыткой ее прорыва на «политическую территорию». В конце 70 – начале 80-х гг. XIX в. белорусские народники впервые выступили с теоретическим обоснованием существования белорусов как «отдельной ветви славянского племени». В качестве основных параметров белорусскости отмечались климат, география, экономика, этнография и белорусский язык, который характеризовался как самое чистое славянское наречие. Народники утверждали, что белорусский народ ощущает свое органическое культурное единство и отличает свои интересы от польских и великорусских¹².

Идею самостоятельности белорусов отстаивали также авторы публикаций в легальной газете «Минский листок», которая была центром группировки белорусских умеренных либералов. Эта газета помещала статьи, посвященные белорусской этнографии, археологии, языку и истории. Напр., М. Довнар-Запольский в цикле статей «Белорусское прошлое» (1888) доказывал существование белорусской нации, подчеркивая самобытность белорусской истории и языка. В литературных публикациях часто использовался белорусский язык¹³. М. Довнар-Запольский позднее также отмечал «национальный дух»¹⁴ многочисленных публикаций «Витебских ведомостей» (80–90-е гг. XIX в.).

На оформление белорусской культурной традиции оказала сильное влияние литературная деятельность Ф. Богушевича (1840–1900). В предисловии к сборнику «Дудка беларуская» (Краков, 1891) поэт провозгласил существование самостоятельного и полноценного белорусского языка, очертил территорию его распространения, предупредил, что утрата родного языка приведет к исчезновению белорусского этноса. Поэт с гордостью говорил о прошлом Беларуси, когда она вместе с Литвой защищалась от нашествий крестоносцев, а после образования державы Гедимина оказалась в середине Литвы как «то зерно в орехе»¹⁵. Впервые в этом предисловии все этнические белорусские земли были названы «Беларусью». Есть все основания считать белорусских народников и Ф. Богушевича «пионерами» собственно белорусского национально-культурного Возрождения*. Последнего с полным правом

* Кстати, определенный перелом в 80-х гг. XIX в. отмечал еще А. Луцкевич в статье, посвященной белорусскому национальному движению и написанной для украинской печати в 1910 (1911?) г.: «...На всем протяжении XIX в. мы видим попытки восстановления белорусской письменности; но только те из них, которые имели место в 80-х годах, находясь в непосредственной связи с современной нам работой над возрождением белорусского народа, – а все предыдущие носят характер чистой этнографии. Правда и то, что первый горячий призыв держаться всего родного, любить свою

можно назвать одним из тех «филологических подстрекателей», роль которых в национальных процессах высоко оценивал Б. Андерсон¹⁶.

Характерными чертами белорусской традиции можно считать своеобразный религиозный индифферентизм ее представителей, которые обходили проблему конфессионального раскола белорусского этноса и обращались ко всем белорусам независимо от вероисповедания. Представители белорусской традиции принадлежали как к католической шляхетско-крестьянской среде, так и к православной интеллигентско-крестьянской. Тексты писались в основном на белорусском языке как кириллицей («гражданкой»), так и латиницей. Первым центром этой традиции было Вильно, но уже в начале XX в. к нему присоединился Минск.

Выработка **белорусской национальной идеи** происходила в XX в. Очевидно существование нескольких вариантов этой идеи уже в начале века. Большую роль здесь сыграли первые белорусские политические организации – Белорусская революционная партия, основанная В. Ивановским, и Белорусская революционная грамада. Правда, как заметил Ю. Туронак, обе эти организации больше напоминали интеллигентский клуб, нежели политическую организацию¹⁷. Становлению первой белорусской политической партии способствовала революция 1905–1907 гг., в которую она вступила под названием Белорусской социалистической грамады. Это была социалистическая партия левонароднического типа. На II съезде (январь 1906 г.) она самоопределилась как партия «трудоу бедноты Белорусского края без различия национальностей». В качестве партийного девиза был утвержден народнический призыв: «Трудящаяся беднота всех стран, соединяйся!»¹⁸ Именно БСГ предложила первый вариант белорусской национальной идеи, нашедший свое отражение на страницах газеты «Наша доля». В программной статье первого номера¹⁹ газеты (01.09.1906) редакция обещала бороться за социальную и национальную свободу, образование на белорусском языке и за Возрождение Беларуси, которое трактовалось в соответствии с социалистической идеологией. Но первоочередную роль в партии имели вопросы классовой борьбы. На страницах «Нашай долі» белорусская идея выступала, прежде всего, как идея социального освобождения белорусской бедноты от российского царизма и помещиков. Собственно национальный компонент белорусской идеи рассматривался скорее как средство социальной мобилизации белорусского крестьянства на политическую борьбу. Фактически перед нами попытка сформулировать **социалистический вариант национальной идеи**. Как известно, газета «Наша доля» просуществовала недолго. В декабре 1906 г. она была запрещена.

“бацькоўшчыну – Беларусь”, свою “простую мову” был сделан поэтом-народником Ф. Богушевичем в 80-х годах» (Антон Луцкевіч пра беларускае Адраджэнне пачатку XX ст. // Гістарычны альманах. 1998. № 1. С. 67).

* Понятие «белорусская национальная идея» трактуется вслед за О. Латышонком как «идея существования нации именно белорусской» (Латышонак, А. Беларуская нацыянальная ідэя / А. Латышонак // Свіцязь. 1994. № 2. С. 30).

Еще до ее закрытия редакция раскололась. Ряд сотрудников (в том числе братья Луцкевичи) перешли на более либеральные позиции, надеясь более эффективно использовать политические перемены, которые принесла революция. Они и стали инициаторами издания нового еженедельника «Наша ніва», который на протяжении 9 лет (1906–1915) являлся центром белорусской национальной жизни.

В «нашенивском» варианте белорусской национальной идеи важнейшее место занимали вопросы, связанные с судьбой белорусского языка и белорусскоязычным образованием²⁰. «Наша ніва» пропагандировала идею преподавания Закона Божия (катехизации) на родном языке²¹ и введения его в костел и церковь в качестве языка дополнительного богослужения²².

Газета стремилась поднять социальный престиж белорусского языка, напоминая читателям, что в ВКЛ этот язык обладал статусом государственного и именно на нем писались законы²³. Ее авторы пропагандировали идею святости родного языка для каждого белоруса и призывали уважать и защищать его, высказывали веру в успех белорусского дела. «Наша ніва» регулярно сообщала о белорусских книжных новинках и в первую очередь об учебниках на родном языке. На ее страницах складывались лексические и грамматические нормы нового белорусского литературного языка. Не случайно З. Шибек в «Нарысе гісторыі Беларусі...» назвал ее «лингвистической академией»²⁴.

Одним из постоянных авторов газеты был М. Бобрович (псевдоним Лявон Гмырак), которому принадлежит следующее определение нации: «Нацию составляют люди, говорящие на одном языке и чувствующие связь между собой; признающие свой данный язык и культуру»²⁵.

Много внимания «Наша ніва» уделяла такому важному компоненту национального сознания, как историческая память. Идеологи белорусского движения понимали, что осознание собственным народом (в первую очередь элитой) и его соседями самостоятельного места белорусов в истории является определенной гарантией того, что нация станет субъектом современной политической и национальной жизни. В 1910 г. на страницах газеты печаталась «Кароткая гісторыя Беларусі» В. Ластовского, которая была первой попыткой осмыслить прошлое белорусской земли и ее народов с **белорусской точки зрения**. Автор стремился показать собственно белорусский вклад в историю и, например, полонизацию характеризовал как самополячивание. Впервые в историографии белорусы трактовались как главный народ края, определявший его историческую судьбу.

Можно утверждать, что «Наша ніва» активно распространяла **этнически-языковой вариант национальной идеологии**, центральное место в котором занимала идея сохранения и развития родного языка, расширения его употребления в образовании, религии и общественно-политической жизни.

При этом характерной чертой публикаций «Нашай нівы» было осуждение всякого шовинизма, в том числе и белорусского. На ее страницах, например, утверждалось, что ненавидеть поляков за то, что они поляки, или русских за то, что они

русские, может только психически ненормальный или ослепленный фальшивым патриотизмом человек²⁶.

Высокий уровень толерантности «нашенивского круга», возможно, был обусловлен тем, что среди белорусской элиты постепенно распространился еще один вариант национальной идеологии, появление которого было связано с политической активностью литовских и белорусских поляков. Именно в их среде в период революции 1905–1907 гг. были выработаны основы так называемой «краёвой идеологии». Ее создатели (М. Рёмер, Р. Скирмунт, К. Скирмунт и Б. Яловецкий) представляли ту часть местной польской общественности, которая сохраняла традиции государственной и культурной самостоятельности земель бывшего ВКЛ. Они чувствовали себя гражданами Великого княжества Литовского и именно его, а не Польшу считали своей Родиной. Фундаментом «краёвости» была идея государственной или гражданской нации. Согласно идеологам «краёвости», каждый, кто чувствовал себя гражданином Края, принадлежал к «краёвой» нации (часто ее называли «нацией литвинов»). Этнические и культурные различия, по их мнению, не играли большой роли. В определенном смысле «краёвость» была продолжением традиции литвинства. Стоит также отметить два направления «краёвой идеологии» – демократическое, у истоков которого стояла фигура М. Рёмера (1880–1945), и консервативно-либеральное, в создании которого большую роль сыграл Р. Скирмунт (1868–939).

Контакты между польскими «краёвцами» демократического направления и деятелями белорусского движения способствовали тому, что «краёвую идею» начали пропагандировать белорусские политики. В первую очередь нужно упомянуть братьев Луцкевичей. Именно они были инициаторами осуществления необычного белорусского издательского проекта – издания ежедневной газеты на русском языке и еженедельника на польском²⁷. В 1912 г. в Вильно начала выходить «Вечерняя газета», к которой вскоре добавился «Курьер Краёвы». Издателями и редакторами этих либерально-демократических изданий были белорусские деятели, в том числе братья Луцкевичи. Но происхождение новых виленских газет держалось в тайне от широкой общественности.

Термин «гражданин Края», один из основных в концепции государственной (гражданской) нации, широко употреблялся на страницах «Курьера» и «Вечерней газеты». Авторы публикаций доказывали, что жизненно важные для Края вопросы должны решаться с учетом интересов всех этносов Беларуси и Литвы²⁸, осуждали великорусский и великопольский шовинизм²⁹, заявляли о необходимости борьбы с проявлениями шовинизма среди белорусов и литовцев³⁰ и т.д. А. Луцкевич призвал всех «граждан Края» к работе на его благо и на благо угнетенного народа. Названные белорусские газеты создавали идейную конкуренцию «Нашай ніве». Они пропагандировали демократическое направление «краёвой идеологии» или **демократический вариант идеологии нации «государственного» типа**.

Но вряд ли «краёвую» позицию «Вечерней газеты» и «Курьера Краёвого» можно считать отдельным вариантом белорусской национальной идеи. Анализ источни-

ков, имеющихся в нашем распоряжении, позволяет говорить об **исключительно прагматическом** использовании белорусами «краёвой идеологии». «Краёвость» позволяла значительно расширить социальную и этнокультурную базу пропаганды идеологии белорусского Возрождения. Она создавала прекрасные возможности для налаживания связей с деятелями других национальных движений. Фактически «краёвая идея» рассматривалась в качестве средства укрепления позиций белорусов в национально-культурной и общественно-политической жизни. Так, например, агитация необходимости взаимопонимания поляков и белорусов аргументировалась в первую очередь отсутствием перспектив дальнейшего развития польского движения в Белорусско-Литовском крае³¹. Руководители белорусского движения были уверены, что литовские и белорусские поляки являются исключительно наследниками полонизированных литовцев и белорусов. Из этого делался вывод, что польская общественность должна работать на развитие сознания и культуры белорусов и литовцев. Очевиден «белорусский уклон» «краёвости» А. Луцкевича и других деятелей «нашенивского» круга.

Консервативно-либеральное направление «краёвой идеологии» стало идейной основой выработки **консервативного варианта** белорусской национальной идеи. Большую роль в этом сыграл Роман Скирмунт, который, кстати, являлся одним из главных идеологов этого «краёвого» направления. От большинства «краёвцев»-консерваторов его отличал выразительный либерализм в вопросах политической жизни и стремление публично дистанцироваться от польскости как национально-политической категории.

Уже в 1907 г. Р. Скирмунт выступил с инициативой создания межнационального Краёвого союза как консервативно-либеральной партии, в составе которой должна была существовать автономная белорусская политическая организация (наряду с польской и литовской). Такую партию создать не удалось, поскольку большинство землевладельцев из числа литовских и белорусских поляков, поддержавших инициативу Р. Скирмунта, воспринимали «краёвость» лишь как средство защиты собственного имущества в условиях быстрой радикализации социальных национальных отношений.

Послереволюционная либерализация позиции деятелей «нашенивского круга» наряду с их симпатиями к «краёвости» способствовали налаживанию контактов с Р. Скирмутом. В исторической литературе есть сведения о том, что в межреволюционный период при посредничестве княгини Магдалены Радзивилл происходили встречи и переговоры между Р. Скирмутом, с одной стороны, и братьями Луцкевичами, В. Ивановским и А. Власовым – с другой³². Было достигнуто определенное взаимопонимание, что обеспечило по крайней мере финансовую поддержку культурных инициатив членов бывшей БСГ.

Но и после этого Р. Скирмунт не оставил попыток создания белорусской консервативной или консервативно-либеральной партии. Согласно В. Гадлевскому, весной 1917 г. он пытался организовать «белорусскую помещичью партию» и привлечь

к политической работе на благо Беларуси представителей бывших магнатских родов³³. В феврале 1918 г. он почти достиг своего, основав в Минске Белорусское народное представительство как политическую партию, находившуюся в оппозиции к грамадовскому Народному секретариату. Однако трагизм ситуации был в том, что Р. Скирмунт не мог найти в Беларуси массовой поддержки своей политической позиции. Как заметил еще в 1918 г. Е. Канчер, выходцы из социальных низов за Скирмунтом не пойдут, а среди имущих классов почти нет людей, которые осознавали бы себя белорусами³⁴.

В 1913 г. началась разработка еще одного варианта белорусской национальной идеи, который А. Луцкевич назвал «**клерикально-патриотическим**»³⁵. В программной статье первого номера газеты «Беларус» редакция заявила, что «будет стоять всегда на почве христианско-католической, защищая дело христианское и белорусское», уважая другие народности и вероисповедания³⁶.

Особенностью этого варианта национальной идеи было единство национальной культуры, просвещения и христианской веры. Газета пропагандировала развитие национального сознания среди белорусов-католиков, поощряло католический клир к употреблению белорусского языка в богослужениях, ориентировалась на социальную гармонию и эволюционный путь развития общества. Как раз про это писал на страницах газеты ее редактор Б. Пачобка: «Истинный белорус тот, кто говорит: Я белорус, люблю свое отечество и язык и сколько могу работаю ради него»³⁷. В другой статье он же доказывал необходимость введения белорусского языка в католический костел, а также издания белорусскоязычной литературы для богослужения³⁸. Редакция призывала белорусов к активному творчеству, отстаивала идею белорусского национального единства православных и католиков, боролась с русификацией и полонизацией белорусов³⁹.

Издание «Беларуса» являлось попыткой **соединения христианско-демократической идеологии с белорусским национальным движением и этнически-языковым вариантом белорусской национальной идеи**.

В заключение нужно отметить, что белорусская национальная идея выросла на почве белорусской культурной традиции, в создание которой внесли вклад как «литвины», так и «западнорусы». В белорусском национально-культурном Возрождении начала XX в. проявилась закономерность, характерная для большинства наций Центрально-Восточной Европы. Доминирующим вариантом национальной идеологии стал этнически-языковой вариант, который последовательно пропагандировала и отстаивала «Наша ніва». Однако обращает на себя внимание стремление белорусов выйти за его границы. В условиях мощных влияний со стороны польской и русской культур белорусские политики для социальной и национально-культурной мобилизации населения активно использовали возможности государственнического (гражданского) варианта национальной идеологии (имеются в виду демократическое и консервативно-либеральное направления «краёвости»), искали возможности соединения белорусской идеи с социалистической и консервативной

ідэалогіяй. Аднак гэтыя спробы аказаліся малоэфектыўнымі, паколькі беларусы тады не мелі дзяржавы, якая могла б'ю аб'яднаць усё этнасы края ў беларускую нацыю дзяржаўнага тыпа. Большасць каталіцкага і праваслаўнага духавенства аказалася втянутым ў руска-польскую барацьбу за так называемы «Северо-западный край» і «всходние кресы», а пролетарыят і буржуазія, асознаючыя сабственаю беларускасць, практычна адсутвалі. В тагдышніх умовах у этнічна-языковага варыянта нацыянальнай ідэалогіі беларускага руху не было альтэрнатывы.

Примечания

- ¹ Каўка, А. Беларускі нацыянальна-вызваленчы рух / А. Каўка // *Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. Мінск, 1993. Т. 1. С. 445–448.*
- ² *Białoruskie zeszyty historyczne.* 2002. № 17. S. 294.
- ³ Марзалюк, І. Людзі даўняй Беларусі: этнаканфесійныя і сацыякультурныя стэрэатыпы (X–XVII ст.) / І. Марзалюк. Магілёў, 2003. С. 285.
- ⁴ Там жа. С. 286.
- ⁵ Смалянчук, А. Да пытання аб ролі палітычнай ідэалогіі ў развіцці беларускага нацыянальнага руху ў 19 – пачатку 20 ст. / А. Смалянчук // *Гістарычны альманах.* 1999. Т. 2. С. 3–19; *Ен жа. Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй. Польскі рух на беларускіх і літоўскіх землях. 1864–1917 г. Гродна, 2001.; Ен жа. Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй. Польскі рух на беларускіх і літоўскіх землях. 1864 – люты 1917 г. Выд. 2-е, дапрац. Санкт-Пецярбург, 2004.*
- ⁶ Куль-Сяльверстава, С. Асаблівасці фармавання беларускай нацыянальнай культуры ў канцы XVIII – першыя дзесяцігоддзі XIX ст.: паміж польскай і літвінскай традыцыямі / С. Куль-Сяльверстава; пад рэд. М. Кандрацюка. *Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. Матэрыялы VII міжнароднай навуковай канферэнцыі «Шлях да ўзаемнасці».* Беласток. 16-18.07.1999. Беласток, 2000.
- ⁷ Цьвікевіч, А. «Западно-руссизм». Нарысы з гісторыі грамадзкай мыслі на Беларусі ў XIX і пачатку XX в. / А. Цьвікевіч. Менск, 1993. С. 54.
- ⁸ Хаўратовіч, І. Богуш-Сестранцэвіч Станіслаў Іванавіч. (3.9.1731–1.12.1826) / І. Хаўратовіч // *Мысліцелі і асветнікі. Энцыклапедычны даведнік.* Мінск, 1995. С. 185.
- ⁹ Токць, С. Нацыятворчыя працэсы на Гарадзеншчыне 19 – пачатку 20 ст. / С. Токць // *Гістарычны альманах.* 2001. Т. 6. С. 166.
- ¹⁰ Латышонак, А. Гутарка «царкоўнага старасты Янкі» з «Ясыкам гаспадаром з-пад Вільні» / А. Латышонак // *Дзеяслоў.* № 9 (2). 2004. С. 199.
- ¹¹ Там жа. С. 211.
- ¹² Гл., напр.: Радзкі, Р. Пецярбургскі «Гоман» як пачынальнік беларускай нацыянальнай ідэі ў XIX ст. / Р. Радзкі // *Нацыянальныя пытанні. Матэрыялы III Міжнароднага кангрэса беларусістаў «Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый».* Мінск, 2001. С. 76–86.
- ¹³ Доўнар-Запольскі, М. Гісторыя Беларусі / М. Доўнар-Запольскі. Мінск, 1994. С. 396–397.

- 14 Там жа. С. 398.
- 15 Багушэвіч, Ф. Творы / Ф. Багушэвіч; укл. Я. Янушкевіч. Мінск, 1998. С. 22.
- 16 Андерсон, Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма / Б. Андерсон. М., 2001. С. 106.
- 17 Turonek, J. Waclaw Iwanowski i odrodzenie Białorusi / J. Turonek. Warszawa, 1992. S. 25–34.
- 18 Біч, М. Беларускае Адраджэнне ў XIX – пачатку XX ст. Гістарычныя асаблівасці, узаемаадносіны з іншымі народамі / М. Біч. Мінск, 1993. С. 17.
- 19 Антон Луцкевіч в уже упомянутой статье отметил: «День выхода первого номера был как бы торжеством белорусской идеи» (Антон Луцкевіч пра беларускае Адраджэнне пачатку XX ст. С. 68).
- 20 См., напр.: Наша ніва. 1906. № 1, 7.
- 21 Там жа. 1914. № 7.
- 22 Там жа. 1908. № 17; 1914. № 20.
- 23 Там жа. 1908. № 20.
- 24 Шыбека, З. Нарыс гісторыі Беларусі. 1795–2002 / З. Шыбека. Мінск, 2003. С. 160.
- 25 Лявон Гмырак. Творы / Лявон Гмырак; уклад. У. Конан. Мінск, 1992. С. 133.
- 26 Наша ніва. 1911. № 5.
- 27 Смалянчук, А. Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй. Польскі рух на беларускіх і літоўскіх землях. 1864 – люты 1917 г.: выд. 2-е, дапрац. / А. Смалянчук. Санкт-Пецярбург, 2004. С. 267, 269 ды інш.
- 28 Kurier Krajowy. 1912. Nr 19; Вечерняя газета. 1913. № 337.
- 29 Kurier Krajowy. 1913. Nr 127; Вечерняя газета. 1913. № 360.
- 30 Вечерняя газета. 1914. № 468.
- 31 Kurier Krajowy. 1913. Nr 98.
- 32 Łatyszonek, O. Radziwiłłowa z Zawiszów / O. Łatyszonek, A. Zięba // Polski słownik biograficzny. T. 30. S. 398–399.
- 33 Гадлеўскі, В. З беларускага палітычнага жыцця ў Менску ў 1917–1918 г. / В. Гадлеўскі // Спадчына. 1997. № 5. С. 22.
- 34 Цит. по: Рудовіч, С. «...Беларускі дзеяч з вялікіх паноў» / С. Рудовіч // Гістарычны альманах. 1999. Т. 2. С. 51.
- 35 Антон Луцкевіч пра беларускае Адраджэнне пачатку XX ст. С. 72.
- 36 Bielarus. 1913. № 1.
- 37 Ibid. 1914. Nr 7.
- 38 Ibid. 1914. Nr 13; 1915. Nr 23–24; Nr 29–30.
- 39 Ibid. 1914. № 7; № 13.

ИСТОРИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ БОРЬБЫ ЗА ИДЕНТИЧНОСТЬ ПОГРАНИЧЬЯ. Деятельность Виленского учебного округа в 1860-е гг.

У знаменитого фантаста Рэя Брэдбери есть рассказ, который называется «Были они смуглые и золотоглазые». Культуролог назвал бы его художественным изображением процесса смены идентичности. Речь в рассказе идет о том, как колонисты-земляне на Марсе, оказавшись оторванными от родной планеты, превращаются в марсиан. Нет, самих исконных обитателей Марса на планете давно уже нет, но остались их города и каналы, картины и памятники, виллы и бассейны. Сам воздух кажется пропитанным чужой культурой, которая таинственным образом проникает в мозг и тело колонистов. И постепенно, сами не замечая того, они «вспоминают» чуждые им слова, имена, привычки и занятия. Когда спустя годы с Земли прилетает ракета, экипаж находит на планете... лишь смуглых, стройных и золотоглазых марсиан, которые, правда, поразительно быстро усваивают английский.

В отличие от мира Брэдбери в исторической реальности эти изменения происходят не столь загадочно. Процесс дрейфа идентичности является результатом взаимодействия многочисленных и разнородных факторов, но все-таки в нем, пожалуй, есть нечто фантастическое, трудно поддающееся рациональному объяснению. Ведь ход изменения идентичности столь полон неожиданных поворотов, открывающихся возможностей и альтернатив, что представить его как нечто однолинейное, закономерное и жестко детерминированное можно лишь в том случае, если развитие рассматривается с точки зрения нашего сегодняшнего знания о достигнутых результатах. Во второй половине XIX в., например, импульс конструирования особой идентичности присутствовал в идеях украинофилов, провансальских поэтов и сибирских областников. Сегодня, спустя

полтора столетия, мы знаем, что цели достигли лишь украинофилы. Но вправе ли мы упрощать реальную сложность исторического развития и акцентировать в прошлом лишь то, что работает на доказательство известного нам сегодня успеха украинского национализма и поражения провансальского? (Оговорюсь сразу, что за стремлением понять альтернативность этих процессов ни в коем случае не стоит намерение увидеть в них историческую случайность.)

Прошлое является важным и необходимым инструментом формирования идентичности. Еще Эрнест Ренан в своей знаменитой лекции «*Qu'est ce que c'est une nation?*» утверждал, что национальное сознание формируют два обязательных события: общее прошлое (разделяемые воспоминания) и общее будущее (разделяемое желание жить вместе)¹. Однако представления о прошлом, в отличие от марсианского мира Брэдбери, где они усваиваются буквально из воздуха, нуждаются в интерпретации, а значит – в интерпретаторах. Сами по себе руины, памятники, достопримечательности, манускрипты остаются нейтральными до тех пор, пока не придет кто-то, кто придаст им ценность и значение и попытается передать эти представления другим.

В эпоху формирования национальных государств история становится ареной, на которой вступают в противоборство различные версии видения «общего прошлого» – в мире культурного пограничья оно приобретает особенно острый характер. Данная статья посвящена попыткам интерпретации истории, которые предпринимались людьми, концентрировавшимися вокруг Ивана Петровича Корнилова (1811–1901). Его с полным основанием можно назвать рыцарем консерватизма и русификации. Отдав двадцать с лишним лет военной службе, Корнилов в 1850-е гг. перешел в ведомство Министерства просвещения и оставался в нем до самой смерти, занимая должности помощника попечителя Петербургского учебного округа, члена совета министра народного просвещения, товарища министра. Но подлинный взлет его карьеры пришелся на 1864–1868 гг.; в это время Корнилов занимал пост попечителя Виленского учебного округа. В глазах самого Корнилова это была не столько служба, сколько высокая миссия служения «русскому делу».

В Вильне, а позднее и в Петербурге, Корнилов был своеобразным центром притяжения для целого круга сослуживцев и единомышленников. Те, кто жил в Петербурге, регулярно собирались у него по субботам. Приезжавшие в столицу обязательно навещали своего бывшего патрона. К этому кругу принадлежали историки Д.И. Иловайский, М.О. Коялович, Н.П. Барсов и целая когорта сослуживцев Корнилова по Виленскому учебному округу. К числу последних можно отнести В.П. Кулина, Н.Н. Новикова, П.А. Гильдебрандта, И.Я. Спрогиса, Г.Э. Траутфеттера, Ю.Ф. Крачковского, А.В. Рачинского, Я.Ф. Головацкого и многих других. Корнилову было свойственно чувство пиетета к историческому документу, и он берег все, что могло свидетельствовать о прошлом: хозяйственные записи своего отца, черновики собственных статей, ведомственные отчеты, циркуляры, карикатуры, сатирические стихи, множество писем – своих и чужих. В результате накопился большой массив

документов, который представлен в личных фондах И.П. Корнилова, хранящихся в РГИА и ОР РНБ (г. Петербург)². Некоторая часть этих материалов вошла в издание, подготовленное самим Корниловым³. Однако сравнение архивных документов с печатным изданием свидетельствует, что бывший виленский попечитель многое стремился сгладить, представить деятельность округа в выгодном свете, а наиболее откровенные факты и высказывания вообще опустить. Архивные документы позволяют уточнить систему ценностей и приоритетов тех людей, которые были искренними и последовательными проводниками «русского дела», обрисовать коллективный портрет русификатора с присущими ему чувствами, мыслями и устремлениями.

Восстание 1863 г. послужило мощным толчком к выработке принципиально новой стратегии действий со стороны правительства. Власть начинала осознавать, что задача управления окраинами сводится не просто к поддержанию внешней лояльности военно-административными мерами. Теперь нужны были более тонкие инструменты, которые по-новому позволили бы скрепить имперское тело. Западные губернии и стали полем для поиска новых подходов. Об этой переориентации А.Н. Пыпин писал с некоторой долей иронии: «С последнего польского восстания мы вдруг открыли, что Западный край есть край русский»⁴.

Для доказательства этого «открытия» стали применяться нетрадиционные аргументы, к числу которых можно отнести и историю. Пожалуй, впервые в России именно в Вильне в 1860-е гг. история стала рассматриваться и использоваться в первую очередь как средство борьбы за идентичность. Коялович, например, писал Корнилову о случае, которому он был свидетелем в г. Лиде: «Поляк, студент Петербургского лесного института, нагло требует в почтовой конторе, чтобы с ним обьяснились по-польски, потому что это страна польская, и что не признавать этого могут только не понимающие истории»⁵. Продолжая делиться с Корниловым своими впечатлениями, Коялович добавляет: «Вы постоянно видите, что крестьянин, выдвигающийся из своей среды, – один говорит с вами нашим литературным языком, другой – чистою польскою речью, – но оба укорачивают свои зипуны, прилаживают их покрой к сюртуку, пальто...»⁶

Официальное законодательство николаевского времени ставило знак тождества между «польскостью» и конфессиональной принадлежностью. Члены корниловского кружка начинают ощущать слабость подобного инструментария. Многие из них, особенно те, кто давно жил в этих местах, уже до восстания понимали, что религиозно-бюрократический подход к пониманию идентичности не слишком тождественно улавливает специфику пограничья. В частности, об этом ярко свидетельствует путевой дневник, который вел окружной инспектор учебного округа Василий Петрович Кулин в 1862 г. во время своей служебной поездки по Виленской и Гродненской губерниям⁷. Чувствовал он себя резидентом, получившим трудное задание от штаба, ибо целью командировки было приискание мест для открытия на селе русских начальных школ и людей, на чью поддержку можно было бы

опереться в этом трудном деле. Больше всего он хочет «узнать народ, за который идет спор, – каким языком он говорит и к какой национальности причисляет сам себя»⁸. Кулин пристально наблюдает за крестьянами, говорящими «по-простему», за ямщиками и духовенством, донимает их всех расспросами. Результаты наблюдений обескураживали: они расходились с официально принятыми представлениями о знаке равенства между поляком и католиком, с одной стороны, и русским и православным – с другой. Православные священники в семье говорили по-польски, их жены вообще не знали русского языка, а крестьяне-католики подчас определяли себя: «Мы русские». Признавая важность языкового и религиозного факторов, Кулин приходил к выводу, что наиболее важным является самосознание, а оно поддается влиянию.

Наблюдения Кулина и Кояловича прямо подводят нас к пониманию основ русификаторской деятельности Виленского округа при Корнилове: история была обращена округом на конструирование идентичности. Важно подчеркнуть, что она была адресована не только к образованным слоям, но и к простонародью. Основными компонентами этой исторической концепции являлись несколько взаимосвязанных тезисов:

- на протяжении всей истории Западного края в его развитии неизменно и непрерывно прослеживается «русская линия», которая красной нитью проходит через многовековое прошлое;
- элементы западной культуры представляют собой чуждое, наносное явление; они сумели «испортить» лишь верхушку общества;
- по мере того как происходило усиление этих чуждых элементов культуры, росли и страдания народа. История Западного края представала как непрерывная – с XVI и до конца XVIII столетия – эскалация горя, бед и насилий, которые обрушивались на мужика.

В ряду мер, посредством которых данные тезисы воплощались в исторические тексты, можно выделить несколько направлений.

1. Поиск, сбор и публикация источников. Корнилов организовывал ежегодные командировки служащих округа для сбора «замечательностей»: летописей, старопечатных книг, рукописей. Учителя рисования по его заданию делали графические изображения древностей: крестов, надгробий, церквей и монастырей⁹. Среди находок были и сенсационные: Туровское евангелие, Супрасльская летопись, летопись Авраамки. Публикация исторических источников развернулась широко, этим занимался не только учебный округ, но и созданная в Вильне археографическая комиссия¹⁰.

Вся эта деятельность была направлена в первую очередь на то, чтобы демонстрировать исконную «русскость» края. Вот что писал Ю.Ф. Крачковский об очередном томе, изданном археографической комиссией, в который вошли акты Гродненского суда: «Эти акты относятся к половине XVI в., язык актов русский или, если угодно, белорусский, и мне думается, что по этим вполне установившимся и сложившимся

формам следовало бы изучать наречие белорусское, а не по каким-то созданным, [диковинным] обрывкам, вроде записанных в последнее время песен, сказок, поговорок и т.п. ...Нравы, обычаи гродненца, его домашняя обстановка, богатство или бедность (по духовным завещаниям), его высшие или низменные идеалы – все это открывается здесь в довольно широких размерах. Названия одежды, предметов домашней утвари встречаются нередко те же, которые в то время встречались в каком-нибудь Суздальском княжестве. Все это вместе в сотый раз говорит опять, что Западная Россия есть исконная Русь, что Литва и Польшизна – это временные наросты, закравшиеся в живой организм и возомнившие быть самим организмом»¹¹.

2. Популяризация исторических знаний. Ученые издания были достоянием сравнительно узкого круга ученой публики. Для того чтобы распространять «правильную» интерпретацию истории в массовом сознании, требовались другие инструменты. К числу таковых можно отнести популярные книги, учебники для народных школ, картинки с изображением героев русской истории. Они печатались большими тиражами, рассылались по книжным магазинам, которые были организованы при народных школах, стоили дешево, а иногда распространялись и вовсе бесплатно¹².

3. Использование религиозных практик для упрочения в массовом сознании «нужной» интерпретации истории. Тревогу среди корниловцев вызывало присутствие исторических символов в практике католической литургии, в праздниках и песнопениях. Подобное сращивание истории и католичества они видели, например, в ритуалах чествования Св. Казимира, в популярных среди народа печатных сборниках кантычек (песнопений)¹³.

Учебный округ пытался вторгнуться и в эту достаточно щекотливую сферу. Циркуляром попечителя, например, предлагалось всем служащим за вознаграждение присылать исторические и современные материалы о местных православных святых, о древних православных памятниках и чудотворных иконах (особенно если они захвачены католиками и находятся в костелах) для публикации в «Западно-Русском месяцеслове». Этот тип изданий широко расхвалился среди народа, так как представлял собой нечто среднее между календарем, святцами и справочником полезных сведений. Месяцеслов содержал роспись религиозных праздников на весь год, публиковал сведения о местных ярмарках, железнодорожное расписание, советы по домашнему лечению людей и животных и т.п. Однако месяцесловы, издаваемые Виленским округом, помимо всего прочего должны были служить «разъяснению исторической истины о Западном крае, распространять в народе убеждение, что эта страна издревле русская и православная»¹⁴.

Религиозно-историческим «противовесом» Св. Казимиру в популярных и учебных изданиях Виленского округа выступали святые мученики Антоний, Иоанн и Евстафий, которые были казнены Ольгердом за приверженность православной вере¹⁵. Сборники кантычек теперь подвергались строгой цензуре, а печатание их перешло в руки учебного округа. В 1866 г., сообщая о полученном разрешении печат-

тать кантычки, Корнилов писал Кулину: «Народ любит кантычки; ну и слава Богу; вот им и готовая книга кантычек. Я признаю не только совершенно безопасными эти кантычки, но считаю их для нас, для будущего, крайне необходимыми... Кантычки воспевали Польшу, заставляли народ плакать и сокрушаться об угнетениях, будто бы претерпеваемых жмудиными от москалей. Кто помешает в кантычках воспевать Россию и освобождение жмудинов от панской неволи и от шляхетского кнута и нахальной надменности»¹⁶.

4. **Попытки использовать «магию имени».** Сотрудники учебного округа уже начинали интуитивно понимать, что названия – мест, улиц, достопримечательностей – косвенно воздействуют на историческое сознание. Именно поэтому при подготовке географических атласов, учебников географии округ стремился по возможности меньше использовать имена, которые «неволью наводят мальчиков на воспоминания о польщизне»¹⁷. Эта черта отразилась и в деятельности Северо-Западного отдела Русского географического общества, который был организован в Вильне в 1867 г.¹⁸ Некоторые деятели корниловского круга предлагали даже заменять «чуждые», полонизированные имена на «исконные» – те, что употреблялись в XIV–XVI вв. По их мнению, например, знаменитую Остробрамскую улицу в Вильне следовало переименовать в Свято-Духовскую¹⁹.

5. **Устранение конкурирующих интерпретаций прошлого.** Уже в 1863 г. четко оформился курс на запрещение как исторических книг на польском языке, так и тех, что были напечатаны на русском языке, но содержали неприемлемую, с точки зрения администрации, версию истории. Почти анекдотически выглядит в этой связи расследование, проведенное по случаю найденной в Виленской гимназии книги А. Здановича «Очерк польской истории для детей». Дирекции так и не удалось выяснить, кто именно принес эту книгу в класс, но все заподозренные были исключены²⁰. Жесткость официальной линии еще более подчеркивается тем, что Александр Зданович, чей учебник по распоряжению М.Н. Муравьева был изъят из продажи и употребления, был широко известен в Вильне как преподаватель и автор многократно издававшихся учебных руководств²¹. Книги, которые до восстания свободно употреблялись в учебных заведениях, теперь попали в разряд крамольных.

В ряду этих мер стоит и коренная переориентация музея древностей, который был открыт в Вильне еще в 1856 г. На энтузиастов музея (Е. Тышкевич, А. Киркор и др.) корниловцы возлагали ответственность за кровопролитие 1863 г. и утверждали, что музей накануне восстания играл роль пропагандистского центра. Любование атрибутами польско-шляхетской жизни, по их мнению, толкало гимназистов, которых приводили в музей на экскурсии, в объятия мятежников. Корниловцы саркастически высмеивали экспозицию музея как «шулерства псевдоученого музея», «апокрифический хлам», в котором представлены «халат Понятовского, пучок сена с могилы Карпинского, зрительная труба Костюшки и сундук Петра Скарги»²². Тышкевич был вынужден передать свой музей округу, после чего экспозиция сжалась, как шагреньевая кожа, ибо в глазах новых управителей музея идеологически ней-

тральными являлись лишь древнейшие экспонаты, добытые при археологических раскопках.

6. Привлечение внимания академической общественности. Корнилов прилагал немалые усилия, чтобы заинтересовать деятельностью учебного округа представителей академической науки. Он состоял в переписке с М.П. Погодиным, Д.И. Иловайским, К.Н. Бестужевым-Рюминым, И.Д. Беляевым и др. После возвращения в Петербург Корнилов продолжал следить, чтобы издания Виленского учебного округа рассылались всем «нужным» историкам, инициировал написание ими рецензий на эти издания. Когда кто-то из историков собирался посетить Вильну, Корнилов забрасывал своих бывших подчиненных инструкциями – встретить и проводить гостя по высшему разряду, все показать и рассказать. Он то и дело сообщает в своих письмах виленским сослуживцам: «К.Н. Бестужев-Рюмин отзывался очень хорошо об историческом отделе книги для чтения... Посещение Ламанского не пройдет даром; он будет писать. Самим хвастаться неудобно, но желательно, чтобы посторонний и беспристрастный человек сказал доброе слово... Миллер взялся рассмотреть латышские песни Спрогиса, а Срезневский и другие – разобрать привезенные мною тома археографического сборника»²³. Примечательно, что круг исторических авторитетов Корнилова ограничен; в него входят историки консервативно-националистического направления, а также ученые, затронувшие проблемы «славянской взаимности». Имен Соловьева, Ключевского, Кавелина или Щапова мы в переписке не найдем.

Каковы же были итоги деятельности корниловцев на исторической ниве? Можно с уверенностью сделать вывод: несмотря на резкую тенденциозность, Виленский учебный округ сыграл значительную роль в деле сбора и публикации исторических источников. Отныне уже нельзя было заниматься историей края, не используя этих изданий. Примечательно, что Адам Киркор, оказавшись в эмиграции, умолял своего друга выслать ему в Краков «Акты по истории Западной России», так как без них невозможно работать, и добавлял при этом: «Крайне мне нужны»²⁴.

Можно также предположить, что стратегия, избранная Виленским учебным округом, была в определенной степени эффективна, ибо учитывала и подогревала антиэлитаристские черты белорусского сознания. Однако путь этот не обещал скорого успеха идеи «западнорусизма», ибо отрезал возможность компромисса с местными образованными слоями. Всех, кто готов был вырабатывать и усваивать «краёвую» интерпретацию истории, корниловцы воспринимали как чужаков и стремились представить их изгоями. Примечательно, что архивные документы демонстрируют безразличие и равнодушие к концепциям польской историографии; значит, корниловцы не видели опасности со стороны тех, кто доказывал, что Литва и Белоруссия исторически принадлежат к польской культуре. Скрежет зубный вызывали другие – те, кто в той или иной степени развивал идеи о самобытности Западного края, кто доказывал, что Западный край – это не Россия или не совсем Россия (А. Киркор, Н. Малиновский, Н. Костомаров, А. Ивановский, П. Бобровский).

Жесткий западнорусизм в интерпретации истории сковывал и самых искренних своих приверженцев, когда им приходилось встречаться с правдой прошлого. И.Д. Беляев, например, с охотой откликнулся на просьбу Виленского учебного округа и написал «Очерк истории Северо-Западного края», предназначенный для народного чтения. Однако московскому историку пришлось извиняться перед Корниловым за то, что очерк был доведен только до XIV в., и объяснять попечителю, что дальнейшее изложение «может быть почерпнуто главным образом из польских источников»²⁵.

Использование истории в борьбе за идентичность заставляло соратников Корнилова отходить от строгих принципов научного анализа и делало их легко уязвимыми для критики. Альтернативную версию истории можно было до поры до времени игнорировать, но от этого аргументы ее авторов не становились слабее. А в страсти и убежденности они не уступали своим противникам. Когда Киркор сообщил А.А. Котляревскому о выходе в свет своего исторического очерка литературы славянских народов²⁶, он подчеркивал: «...Я провожу резкую черту между Восточной и Западной Россией, и говорю сперва о последней, т.е. о русинской литературе (сиречь о малорусской и белорусской), а о российской или московской начиная с XV и XVI в. Киева, песни о полку Игоря, Скорины, Статугов и пр. и пр. москалям я не отдам. Все это наше, а их литература собственно-то и начинается со времен Грозного, Курбского и др.»²⁷.

Если представить идентичность Западного края в виде пружины, то может показаться, что она в результате целенаправленной политики 1860-х гг. так сильно растянулась и деформировалась, что уже готова была принять новую форму. Однако каждая пружина имеет упругость и стремится вернуться в первоначальное состояние. Другое дело, что при достаточно длительном и сильном воздействии ей это не всегда удается в полной мере. Недаром уже в 1870-е гг. в переписке корниловского круга появляется лейтмотив горечи и недоумения. Помимо нелестных характеристик в адрес новой администрации («Болван Потапов!»), в ней обнаруживается осознание того факта, что успех, который казался столь близким и бесспорным, почему-то все больше отдаляется. Более того, Корнилова и его единомышленников начинала тревожить мысль, что трудности эти объясняются не только «интригами поляков», но и какими-то более глубокими факторами. И бывший попечитель Виленского округа с болью признавался в письме к своему другу и сослуживцу Кулину: «Я никак не подозревал, что наше дело так непрочно»²⁸.

Примечания

¹ См.: Ренан, Э. Что такое нация? / Э. Ренан // Собр. соч. в 12 т. Киев, 1902. Т. 6. С.90–93.

² РГИА. Ф. 970; ОР РНБ. Ф. 377.

- ³ Корнилов, И.П. Русское дело в Северо-Западном крае. Материалы для истории Виленского учебного округа преимущественно в муравьевскую эпоху. Изд. 2 / И.П. Корнилов. СПб., 1908.
- ⁴ Вестник Европы. 1887. Т. IV. С. 664.
- ⁵ ОР РНБ. Ф. 377, д. 814, л. 40 об.
- ⁶ ОР РНБ. Ф. 377, д. 814, л. 41.
- ⁷ См.: РГИА. Ф. 970, д. 876.
- ⁸ Там же. Л. 2.
- ⁹ См.: РГИА. Ф. 970, д. 908, л. 12–14.
- ¹⁰ Среди этих изданий можно указать: Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси. Т.1–5. Вильна, 1867–68; многотомное издание «Актов Виленской археографической комиссии»; Туровское евангелие одиннадцатого века. Вильна, 1869; Замечательности Северо-Западного края. Вильна, 1867; Памятники русской старины в западных губерниях. Вильна, 1865.
- ¹¹ ОР РНБ. Ф. 377, д. 820, л. 8.
- ¹² В ряду подобных изданий можно указать следующие: Замечательности Северо-Западного края. Вып. 1. Вильна, 1868; Беляев, И.Д. Очерк истории Северо-Западного края России / И.Д. Беляев. Вильна, 1867; Западно-русский месяцеслов на 1865 г. (на 1866 г. и т.д.). Вильна, 1864–1865, тираж каждого месяцеслова составлял 45 тыс. экз; Книга для чтения в народных училищах Виленского учебного округа (в течение 1860-х гг. вышло несколько изданий «Книги для чтения») общим тиражом около 50 тыс. экз.; сведения о тиражах см. в: РГИА. Ф. 970, д. 908, л. 22–22 об.
- ¹³ См., например: РГИА. Ф. 970, д. 914, л. 1–2.
- ¹⁴ См.: Циркуляр по Виленскому учебному округу от 1866 г. // ОР РНБ. Ф. 377, д. 139. л. 2–4.
- ¹⁵ См.: Книга для чтения в народных училищах Виленского учебного округа. Вильна, 1864. С. 237–240.
- ¹⁶ Корнилов, И.П. Указ. соч. С. 471.
- ¹⁷ См.: ОР РНБ. Ф. 377, д. 108.
- ¹⁸ См.: ОР РНБ. Ф. 377, д. 78.
- ¹⁹ См.: ОР РНБ. Ф. 377, д. 836, л.15, 15 об.
- ²⁰ См.: ОР РНБ. Ф. 377, д. 157.
- ²¹ См.: Сборник распоряжений графа М.Н. Муравьева по усмирению польского мятежа в Северо-Западных губерниях. 1863–1864. Вильна, 1866. С. 359; перу А. Здановича, в частности, принадлежали следующие учебники: Zdanovicz, A. Szkic historyi polskiej dla dzieci w dwóch kursach / A. Zdanovicz. Wilno, 1859; Historia powszechna dla szkolnej młodzieży. Wilno, 1861.
- ²² См.: РГИА. Ф. 954, оп. 1, д. 101, л. 1-4 об.; Ф. 970, д. 908, л. 4–5, 8.
- ²³ РГИА. Ф. 970, д. 908, л. 7, 9, 49.
- ²⁴ ОР РНБ. Ф. 386, д. 52, л. 24–24 об.
- ²⁵ Корнилов, И.П. Указ. соч. С. 286.
- ²⁶ Имеется в виду работа, написанная Киркором на основе курса публичных лекций, прочитанного им в Кракове (Kirkor, A. O literaturze pobratymczych narodow słowiańskich / A. Kirkov. Krakow, 1874).
- ²⁷ ОР РНБ. Ф. 386, д. 52, л. 30.
- ²⁸ РГИА. Ф. 970, д. 908, л. 88.

Исследование проведено при поддержке РГНФ. Проект № 05-01-90103а/Б

БЮРОКРАТИЯ В УСЛОВИЯХ ПОГРАНИЧЬЯ: ФОРМИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО АППАРАТА В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ КРАЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ПОСЛЕ ПОЛЬСКОГО ВОССТАНИЯ 1863–1864 гг.

В настоящее время многие исследователи, занимающиеся историей «национальной политики» Российской империи, сходятся в признании необходимости заново проанализировать проблему русификации. Современный российский исследователь А. Миллер в своей недавней работе отмечал, что многообразие процессов, которое скрывается за понятием «русификация», не будет нами понято без изучения всех вовлеченных сторон, выявления взаимодействия между ними, понимания логики их поведения, а также без помещения событий в исторический контекст¹. Одной из «вовлеченных в процесс русификации сторон» были русские чиновники, служившие на окраинах. В последние годы появились исследования, в которых с разных точек зрения рассматриваются взгляды и деятельность русских чиновников в Северо-Западном крае (т.е. на территории современных Беларуси и Литвы) в период 1863–1914 гг. Однако в то время, как многие проблемы, относящиеся к административной практике русификации или к особенностям менталитета бюрократии, получили освещение в работах Т.Р. Уикса², М. Долбилова³, Д. Сталюнаса⁴, Л. Горизонтова и др.⁵, вопрос о социокультурной характеристике русского чиновничества, служившего на западных окраинах Российской империи, остается по преимуществу вне исследовательского внимания. В качестве важного, но специально не изученного аспекта этой проблемы следует рассматривать изучение кадровой политики властей в данном регионе, в том числе выявление критериев, являвшихся руководящими при формировании административного аппарата.

С момента присоединения западных пограничных территорий к России и до краха империи в 1917 г. самодержавие не сумело сконцентрировать там значительных управленческих

ресурсов. После подавления Польского восстания 1830–1831 гг. правительство признало необходимость увеличить число русских чиновников в составе административного аппарата в Западном крае, однако эта цель не признавалась публично и не считалась приоритетной. После смерти императора Николая I, с началом так называемой политической «оттепели» в середине 1850-х гг., задачи кадровой политики в этом регионе подверглись пересмотру. Так, одним из первых повелений нового императора Александра II была фактическая отмена распоряжения Николая I о замещении как полицейских, так и всех прочих должностей в западных губерниях русскими чиновниками и о переводе в центральные губернии России служащих из «туземцев», т.е. чиновников так называемого «местного происхождения». Александр II 27 мая 1855 г. утвердил решение Комитета министров, согласно которому виленскому и киевскому генерал-губернаторам разрешалось приглашать русских чиновников в Западный край лишь на открывающиеся вакансии. Таким образом, декларировалось, что замена чиновников должна была осуществляться «исподволь и без особенного стеснения туземцев»⁶. В результате этого решения большинство чиновников «местного происхождения» сохранило свои места вплоть до начала Польского восстания 1863–1864 г. Например, подполковник Генерального штаба П.О. Бобровский, составивший в начале 1860-х гг. военно-статистическое описание Гродненской губернии, отмечал, что уроженцы великорусских, белорусских и малороссийских губерний, как правило, занимали в Гродненской губернии и ее уездах высшие должности. Однако основную часть среднего и низшего чиновничества составляли служащие «местного происхождения», а также уроженцы «литовских» губерний и Царства Польского. Они исповедовали католичество, говорили по-польски, а русский язык знали лишь в той степени, в какой это было необходимо для ведения делопроизводства⁷. Сходная ситуация наблюдалась и в других губерниях Северо-Западного края.

Наиболее масштабная попытка «усилить» административный аппарат русскими чиновниками была предпринята во время и после подавления Польского восстания 1863–1864 гг., и главным инициатором «кадровой русификации» был виленский генерал-губернатор М.Н. Муравьев. Вопреки распространенному в польской историографии мнению, Муравьев не стремился уволить всех чиновников «польского происхождения» поголовно и без разбора. В представленной Александру II 15 мая 1864 г. особой записке Муравьев предложил немедленно замещать русскими чиновниками все высшие служебные должности по всем ведомствам и все «места, имеющие прикосновение с народом», а остальные должности – замещать русскими постепенно. Это предложение было утверждено указом императора 22 мая 1864 г.⁸ На основании специальных циркулярных распоряжений Муравьева постепенной замене подлежал личный состав палат государственных имуществ, мировых по крестьянским делам учреждений, жандармских управлений, преподавателей в средних учебных заведениях. Остальные чиновники-«туземцы», соответственно, сохраняли свои места. Муравьев планировал уже к концу 1864 г. увеличить количество русских

чиновников в Северо-Западном крае до 2/3 от общего числа всех служащих⁹. Однако только при его преемнике – генерал-губернаторе К.П. фон Кауфмане число русских чиновников в крае начало превышать число польских. Темпы этого роста можно проследить, например, по отчетам виленского губернатора. В июле 1863 г. виленский губернатор С.Ф. Панютин писал в частном письме: «... Надобно отдать справедливость, что из России прибыло много очень порядочных людей, у меня определено более 20-ти. Все мировые посредники уже назначены, а в земской полиции осталось только несколько поляков действительно преданных»¹⁰. Согласно губернаторским отчетам, в течение 1863 г. в Виленскую губернию по вызову Муравьева прибыло из великорусских губерний 252 чиновника. В результате на три чиновника «польского происхождения» теперь приходился один русский. Но в 1864 г. в Виленской губернии число русских чиновников увеличилось еще на 342 человека, и их общее количество (592 чиновника из уроженцев внутренних губерний православного исповедания, 39 служащих лютеранского исповедания) даже превысило численность служащих польского происхождения католического исповедания (625 человек)¹¹. По официальным данным, всего в период с 1863 по 1865 г. на службу в 6 северо-западных губерний было зачислено 5617 чиновников из великорусских губерний, из них 211 человек – в управление генерал-губернатора¹².

Для того чтобы служба в Северо-Западном крае казалась чиновникам из центральной России более привлекательной, Муравьев предложил «дать им некоторые преимущества относительно их содержания и улучшения домашнего их быта»¹³. В октябре 1863 г. было увеличено на 50% штатное содержание чиновникам «русского происхождения» Министерства финансов – членам казенных палат и уездных казначейств. В феврале 1864 г. эта мера по ходатайству Муравьева была распространена на чиновников министерств внутренних дел, народного просвещения, государственных имуществ, юстиции, почтового и межевого ведомств, служащих строительных и дорожных комиссий. Кроме того, всем чиновникам, без различия занимаемых должностей, выдавались прогонные деньги для проезда на место службы в Северо-Западный край и подъемные¹⁴. В конце 1860-х – 1870-е гг. на Северо-Западный край продолжали выделяться значительные суммы для выдачи прогонных и подъемных денег при определении сюда чиновников из внутренних губерний¹⁵. Все эти расходы были возложены на так называемый «10-ти процентный» поземельный сбор с помещиков Западного края.

Главным критерием при отборе чиновников для службы в Северо-Западном крае была их лояльность. При этом термин «лояльность» понимался двояко: и как политическая благонадежность, и как личная преданность руководителю (для чиновников верхнего и среднего эшелона администрации – преданность непосредственно виленскому генерал-губернатору). При определении благонадежности служащего основную роль играло его происхождение – «польское» или «русское». После восстания 1863 г. в официальных бумагах термин «польское происхождение» практически полностью заменил употреблявшееся до этого выражение «местное

происхождение». Генерал-губернатор Муравьев стремился лично контролировать лояльность своих служащих. Один из приближенных Муравьева даже исполнял при нем «должность специального оценщика политической благонадежности членов чиновничьей корпорации»¹⁶. В целях проверки и наблюдения за благонадежностью чиновников он издал целую серию циркуляров. Так, в январе 1864 г. Муравьев распорядился представить ему ведомость обо всех состоявших на службе в крае чиновниках с указанием их вероисповедания. В марте 1864 г. виленский генерал-губернатор предписал информировать его о политической благонадежности кандидатов на замещение свободных вакансий в губернских и уездных управлениях, а также представить ему ведомость о вероисповедании их жен и семейств¹⁷. В секретном циркуляре Муравьева от 20 июля 1864 г. местному начальству предписывалось наблюдать, чтобы русские чиновники женились преимущественно на православных и избегали браков с местными уроженками «польского происхождения»¹⁸. Тогда же, в июле 1864 г., Муравьев рекомендовал виленскому губернатору С.Ф. Панютину следить за тем, чтобы его подчиненные «тщательно посещали православные церкви и тем самым подавали благой пример прочим православным»¹⁹. Циркуляры генерал-губернатора от 21 июля и 24 ноября 1864 г. обязывали местное начальство составить заключение о благонадежности служащих «польского происхождения» питейно-акцизного управления, городских и уездных полицейских²⁰. Помощник командующего Виленским военным округом генерал Н.А. Крыжановский, объезжая в начале 1864 г. губернии Северо-Западного края, имел специальное поручение от Муравьева обратить внимание на личный состав уездных учреждений и особенно на чиновников «польского происхождения»²¹. Таким образом, наиболее благонадежными, с точки зрения Муравьева, считались русские православные чиновники, приехавшие из великорусских губерний и имеющие семью православного вероисповедания.

Кроме того, важным критерием при подборе русских чиновников для службы в Северо-Западном крае было то, что современным языком можно назвать «моральным обликом» служащего. Проверка лояльности русских чиновников, пожелавших служить в Северо-Западном крае, осуществлялась с помощью III Отделения канцелярии. Так, в 1864 г. Муравьев неоднократно направлял в это учреждение списки кандидатов на разные должности для получения справок об их благонадежности, вероисповедании, «трезвом поведении» и даже профессиональной квалификации. Как можно судить по делопроизводственным документам III Отделения, основным поводом для отказа в месте некоторым из этих кандидатов служили не их политические взгляды, а «дурное» или «нетрезвое» поведение. С другой стороны, Муравьев и его преемники постоянно сталкивались с тем, что наиболее компетентные и добросовестные русские чиновники не стремились задержаться в крае, приезжали зачастую на короткое время – как говорили современники, «схватить отличий и уехать в Петербург». Они рассматривали службу в крае как короткий этап, необходимый для дальнейшей успешной карьеры. Для того чтобы в какой-то мере предотвратить

эту «текучку кадров», по предложению Муравьева в сентябре 1864 г. для приезжавших в край чиновников был установлен обязательный двухлетний срок службы. В противном случае с них требовали обратно уже выданные прогонные и подъемные деньги²².

В итоге даже после этого «московского наезда», как называли местные жители приезд русских чиновников, в Северо-Западном крае продолжало служить значительное число чиновников «польского происхождения». Согласно наблюдению современника, большинство приезжих русских чиновников очень дорожило «туземными» служащими, опытными в канцелярской работе и хорошо знакомыми с условиями края. Чиновники «польского происхождения» часто также поступали к русским по найму в секретари-письмоводители, таким образом работая за них «негласно»²³. Хотя администрация с подозрением относилась к «инфильтрации» в свою среду чиновников-поляков как «враждебного элемента», но, по свидетельству ковенского губернатора А.Г. Казначеева, «их приходилось временно терпеть под опасением останковки дел»²⁴. В категорию лиц «польского происхождения» включались уроженцы западных губерний, по вероисповеданию католики и по своему социальному происхождению не относящиеся к крестьянству. Тем не менее для местных уроженцев существовали «лазейки», благодаря которым они могли поступать на службу (прежде всего, формальный переход в православие). В белорусских губерниях для многих местных чиновников проблема выбора между двумя враждебными идентичностями – польской и русской – разрешалась своеобразным компромиссом: они признавали себя «белоруссами», официально исповедовали православие, но не прерывали своих связей с польской культурной общностью.

Примечания

- ¹ Миллер, А. Русификация: классифицировать и понять / А. Миллер // *Ab Imperio*. 2002. № 2. С. 136.
- ² Weeks, T.R. *Nation and State in Late Imperial Russia. Nationalism and Russification on the Western Frontier, 1863–1914* / T.R. Weeks. DeKalb, 1996; *Ibid. Defining Us and Them: Poles and Russians in the “Western Provinces”, 1863–1914* // *Slavic Review*. 1994. № 1.
- ³ Долбилов, М.Д. Конструирование образов мятежа. Политика М.Н. Муравьева в Литовско-Белорусском крае в 1863–1865 гг. как объект историко-антропологического анализа / М.Д. Долбилов // *Actio Nova*. М., 2000; Его же. Культурная идиома возрождения России как фактор имперской политики в Северо-Западном крае в 1863–1865 гг. // *Ab Imperio*. 2001. № 1–2; Его же. Полонофобия и русификация Северо-Западного края (1860-е гг.): метаморфозы этностереотипов // www.empires.ru; Dolbilov, M. *Russification and the Bureaucratic Mind in the Russian Empire’s Northwest Region in the 1860s* / M. Dolbilov // *Kritika: Exploration in Russian and Eurasian History*. 2004. Vol. 5. № 2. P. 245–271.
- ⁴ Сталюнас, Д. Границы в пограничье: белорусы и этнолингвистическая политика Российской империи на западных окраинах в период Великих Реформ / Д. Сталюнас //

- Ab Imperio. 2003. № 1; Его же. Этнополитическая ситуация Северо-Западного края в оценке М.Н. Муравьева (1863–1865) // Балтийский архив. Вып. 7. Вильнюс, 2002; Staliūnas, D. ‘The Pole’ in the Policy of the Russian Government: Semantics and Praxis in the Mid-Nineteenth Century / D. Staliūnas // Lithuanian Historical Studies. Vol. 5. Vilnius, 2000.
- ⁵ Горизонтов, Л.Е. Парадоксы имперской политики. Поляки в России и русские в Польше / Л.Е. Горизонтов. М., 1999; Rodkiewicz, W. Russian Nationality Policy in the Western Provinces of the Empire (1863–1905) / W. Rodkiewicz. Lublin, 1998.
- ⁶ Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 109, 1 экспедиция, оп. 30, 1855 г., д. 49, л. 17–25, 34–37.
- ⁷ Бобровский, П.О. Гродненская губерния / П.О. Бобровский. СПб., 1863. Ч. 1. С. 729.
- ⁸ Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1267, оп. 1, д. 27, л. 82, 87–90.
- ⁹ Там же. Д. 25, л. 363.
- ¹⁰ ГАРФ. Ф. 109, 1 экспедиция, оп. 38, 1863 г., д. 23, ч. 121, л. 51.
- ¹¹ Дакументы і матэрыялы па гісторыі Беларусі / под рэд. Н.М. Нікольскага. Мінск, 1940. Т. 2. С. 558, 560.
- ¹² РГИА. Ф. 1282, оп. 1, д. 248, л. 120.
- ¹³ РГИА. Ф. 1267, оп. 1, д. 25, л. 371.
- ¹⁴ Там же. Л. 354, 359–361, 272.
- ¹⁵ Например, в 1867 г. было ассигновано 20 тыс. руб., в 1868 г. – 18 тыс. руб., в 1869 г. – 16 тыс. руб., в 1870 г. – 8 тыс. руб., с 1871 по 1874 – по 11 тыс. руб. (РГИА. Ф. 1250, оп. 2, д. 37, л. 133–135).
- ¹⁶ Павлов, А.С. В.И. Назимов, генерал-губернатор Северо-Западного края, генерал-адъютант / А.С. Павлов. СПб., 1885. С. 16.
- ¹⁷ Цылов, Н.И. Сборник распоряжений графа М.Н. Муравьева / Н.И. Цылов. Вильна, 1866. С. 74, 376.
- ¹⁸ ГАРФ. Ф. 109. Секретный архив. Оп. 2, д. 703, л. 1–2.
- ¹⁹ Миловидов, А.И. (публ.). Из переписки М.Н. Муравьева относительно религиозных и церковно-обрядовых вопросов Северо-Западного края, 1863–1864 гг. / А.И. Миловидов // Русский архив. 1914. № 12. С. 564.
- ²⁰ Цылов, Н.И. Указ. соч. С. 25–26.
- ²¹ Мосолов, А.Н. Виленские очерки: (Муравьевское время): 1863–1865 гг. / А.Н. Мосолов. СПб., 1898. С. 132.
- ²² Цылов, Н.И. Указ. соч. С. 242–243; РГИА. Ф. 1267, оп. 1, д. 30, л. 18–19.
- ²³ Морозов, П. Русское дело в Литовской Руси / П. Морозов // Русский вестник. 1883. № 7. С. 32.
- ²⁴ А.К. [Казначеев А.Г.] Между строками одного формулярного списка, 1823–1881 гг. / А.К. [Казначеев] // Русская старина. 1881. № 12. С. 841.

ИМПЕРСКОЕ ЗНАНИЕ: РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И КОЛОНИАЛИЗМ*

Предметом этого исследования является присутствие в русском культурном дискурсе имперского статуса России. Долгое время этот феномен оставался незамеченным из-за отсутствия интеллектуальных традиций его опознания. Читатель западной литературы имеет повышенную чувствительность к наличию в ней замаскированного присутствия власти, а относительно русской литературы подобной чувствительности не было выработано. Антиколониальный дискурс в колониях западных стран и среди западных интеллектуалов со временем становился все более выразительным, но Россия с подобной перспективы не рассматривалась, так как считалось, что русский империализм остался в докоммунистическом прошлом. В кругозоре постколониального внимания оказывались лишь те западные колонии, которые получали поддержку от коммунистической России, но не сама колониальная практика царской и советской власти. После распада Советского Союза радость от падения тирании заглушила все остальные чувства, и поэтому наследие русского колониализма в русской литературе снова выпало из поля зрения критиков. Многочисленные издания и журналы продолжали формировать в сознании западных читателей неколониальный образ русской культуры. Эта книга противопоставляется доминирующей тенденции всех подобных произведений и текстов.

На то, что Россия преимущественно не воспринималась как колониальное государство, влиял также и ряд других причин. Одна из них – география колоний России. В постколониальной теории и критике обычно считается, что колонии находятся далеко от метрополии и что их завоевание требует заморских

* Фрагмент книги «Imperial Knowledge: Russian Literature and Colonialism». Greenwood Press.

походов. В случае с Россией колонии граничили с этнически русскими* землями. Трансформация Российской империи в Советский Союз еще больше замаскировала колониальную природу государства, в котором доминировали русские. Его территория увеличивалась за счет войн, аннексий и дипломатических маневров, которые не слишком отличались от заморских предприятий западноевропейских государств. Однако близость колоний к этническим русским землям затемнила природу взаимоотношений между метрополией и колониальной периферией, которая в наше время начала добиваться суверенитета и утверждения собственной идентичности.

С территориальной неопределенностью связана и лингвистическая. Английскими словами «Russia» и «Russian» переводится более десятка русских слов и выражений. В русском языке есть слово *Россия* в значении русский народ или государство (этому слову придали вес «История» Карамзина). Но есть также и более древнее слово *Русь*, государство, которое существовало до монгольского нашествия в XIII в. и центром которого был Киев. Слово *Русь* иногда используется как метафора, которая охватывает всех восточных славян (русских, белорусов и украинцев), но иногда им называют только украинцев и белорусов. В последнем случае оно соответствует старому английскому слову «Ruthenia» (Рутения), которое обозначает современные Беларусь и Украину, взятые вместе, но не «Muscovy» (Московию), то есть Россию.

* Здесь и далее определение «русский» (напр., русские земли, русский язык, русский народ и т.д.) используется достаточно условно: в соответствии с современным (а не историческим) смыслом этого слова – т.е. *русский* как имеющий отношение к *русским*, к титульной национальности России. Поэтому под выражением «этнические русские земли» в данной работе понимаются лишь те земли, которые принадлежали Московскому государству. В этом случае слово *русский* (в современном употреблении) соответствует слову *московский* в его историческом значении, когда было *Московское государство*, жителями которого были *московцы*.

Вместе с тем в переводе используется словосочетание *русская империя* (исключая случаи, когда имеется в виду именно государство – Российская империя). С одной стороны, можно было бы все время использовать понятие *Российская империя*, но в соответствии с основной мыслью текста имперский характер русской власти не исчез тогда, когда государство под названием *Российская империя* прекратило свое существование. То есть понятие *русская империя* употребляется как название феномена, а не как название государства, а поэтому оно гораздо шире понятия *Российская империя*. С другой стороны, если мы соглашаемся на употребление слова *русский* в его современном значении, то выражение *русская империя* позволяет точнее передать суть империи, в которой доминировали русские и которым она, по сути, принадлежала.

В то же время исторически правильнее было бы вообще использовать название *Московская империя*, что указывало бы на корни данной империи – Московское государство и в некоторой степени позволяло бы избежать спекуляций с историческим содержанием слова *русский*. Возможно, в будущем русский язык вернется к своему прежнему (использовавшемуся до XVII–XVIII вв.) названию – *московский*, и именно от этого корня будут образовываться слова, относящиеся к данному государству и народу.

Таким образом, перевод слова *Русь* как «Russia» (Россия) редко бывает корректным, но именно так его в основном переводят американские историки. Кроме того, существует понятие «Московское государство», которое раньше переводилось на английский язык как «Muscovy». Оно относится к государству с центром в Москве, возникшему в XIV ст. после монгольского нашествия. Это государство стремилось к расширению за счет чужих территорий (что не было свойственно Киевской Руси) и, не останавливаясь, захватывало земли соседей, пока его экспансия не оборвалась в 1991 г. (время распада СССР). Важно помнить, что до XVII ст. Московия не называла себя Россией, а официально это название стало использоваться только в XVIII ст. Кроме того, как недавно отметил в своей содержательной статье Эдвард Кинан (Edward Keenan), Московия не считала, что она является продолжением Киевской Руси¹. Нет никаких признаков того, что Иван Грозный или его предшественники хоть когда-нибудь рассматривали Украину или Беларусь (которые тогда находились под польско-литовским правлением) как родину московитов. Таким образом, понятие «воссоединения» трех восточнославянских народов, которое пропагандировали русские* идеологи XVIII ст., было изобретено лишь в конце XVII в., а раньше ему не было места в самосознании государства. Московия целиком поглотила Украину и Беларусь не потому, что жаждала воссоединения (его не могло быть, поскольку никогда не было объединения), а потому, что она расширяла свои территории во всех направлениях.

Соответственно, англичанин Джайлз Флетчер (Giles Fletcher), живший в XVI ст., был послом в Московии, а не в России, и так он называет это государство в своей книге «Of the Russe Commonwealth» (1588). Но для большинства историков XX в., которые изучали этот регион, его Московия и созданная позже *Российская империя* (царская империя, в которой доминировали русские) – одинаково называются «Russia». Универсальное использование этого названия уводит наше внимание от колониального способа добывания земель Московией. В то время как *Русь* не была колониальным государством, *Московское государство* стремилось им быть, как и Россия во время правления царей (иными словами – *Российская империя*). Англичане не называют Индию «Англией»; колонии и доминионы имеют собственные определения, поэтому название «Объединенное Королевство» признает идентичность «внутренних колоний» английской короны. А в мире экспансии Московии и государства, которое стало ее преемником, – то есть *Российской империи* – такие территории, как Дагестан, Эстония, Украина или Татарстан, стали называть «Россией» вопреки их демографическим и историческим реалиям. Перефразируя Кинана, можно сказать, что с точки зрения культуролога эта лингвистическая экспансия является одной из величайших мистификаций европейской истории.

Прилагательное *русский* может касаться *России*, *Руси* или *Московского государства*. И в каждом из этих случаев оно имеет разное значение. Но к еще большей

* Имеются в виду, безусловно, русские идеологи не по происхождению, а те, кто работал на продуцирование и функционирование русского [имперского] дискурса.

путанице привело то, что в XVIII ст. начало использоваться прилагательное *российский* как производное от слова *Россия*, которая на тот момент уже была империей. Слово *российский* употреблялось как синоним слову *русский* даже в официальных речах, правда, Екатерина Великая поощряла его употребление лишь в отношении не-русских народов империи. То есть слово *русский* относилось только к русским, тогда как *российский* – как к русским, так и к остальным подданным империи (отсюда и название *Российская империя* или, в постсоветский период, *Российская Федерация*). В современном русском языке слово *российский*, как и прежде, касается русских и тех народов Российской Федерации, которые ими не являются, а слово *русский* – только собственно русских. Однако оба эти слова переводятся на английский язык как «Russian». И хотя они имеют одинаковую этимологию, но слово *российский* латентно обозначает как бы «не совсем» русских (русских в процессе становления); лиц, которые тем или иным образом лишь связаны с Россией. Колониальная сущность империи, таким образом, маскируется с помощью лингвистических манипуляций. Кстати, в советской России были попытки объединить эти два понятия через объявление слова *российский* архаичной формой слова *русский*².

Рассказ Ивана Бунина «Аглая» является одним из многочисленных литературных произведений, способствующих унификации различных обозначений России в сознании как своих, так и иностранных читателей. Деревенская девушка Катерина объясняет младшей сестре русскую историю, которую она изучала, когда была в женском монастыре. Центральным местом этой истории является грустный рассказ про то, как «ушла Русь из Киева в леса и болота непроходимые, в лубяные городки свои, под жестокую державу московских князей, как терпела она от смут, междоусобий, от свирепых татарских орд и от прочих господних кар...»³ Объединение понятий Русь и Московия в этом, в общем, симпатичном рассказе, а также горестные жалобы на тяжелую судьбу (жалобы, которые могут казаться преувеличением для такой успешной страны, как Россия) являются неотъемлемой частью русской политической культуры. Следует также отметить, что во время написания этого произведения «дикие татарские орды» уже давно принадлежали русской империи; сохранение памяти об их былых зверствах не способствовало примирению с татарами как с русскими подданными.

Такое разнообразие в значении слов, которые переводятся на английский язык только как «Russia» и «Russian», приводит к слиянию понятий имперской экспансивности и национальной идентичности (если воспользоваться выражением писателя Евгения Анисимова). Он признал, что для русских «СССР», как правило, обозначает «Россия». Когда вице-президент Академии наук СССР Евгений Велихов услышал об изменении ее названия (вместо советской она стала называться российской), то сказал: «по сути, она всегда была русской академией наук»⁴. Символично смотрится титульный лист журнала «Наша Россия» (№ 11/35, 1992), на котором написан слоган: «Русь – Россия – СССР – Наша великая Родина».

Выпуск журнала «Огонек» за июль 1995 г. (№29/4408) содержит редакционную статью, написанную главным редактором журнала Львом Гуциным, где он употребляет слово *великороссы*, которое возникло в XVIII в. Это слово содержит прилагательное «великий», как в советском национальном гимне – *великая Русь*, или Великая Россия. Прежде всего оно обозначает географическое положение, однако основной смысл связан с исключительностью русского человека, особенно если учитывать, что употребляются также его антонимы *малороссы* и *белороссы* (которым обозначают украинцев и белорусов). Эти семантически манипулятивные слова формируют представление, что только россияне являются действительно «великими русскими», а украинцы и белорусы всего лишь «малыми русскими» и «белыми русскими» соответственно.

Почему эти отличия важны? Потому что пренебрежение ими означает поддержку русского колониализма, действия которого были направлены на лишение народов и этнических групп собственных названий. Так же как ирландцы не «англичане», хотя и включены в Британскую империю, башкиры и дагестанцы не являются «русскими», несмотря на то что живут в Российской Федерации. Ни один из европейских языков, за исключением славянских, не отличает значений слов *русский* и *российский*, как и слов *Русь*, *Россия* и *Московское государство*. (Чтобы избежать путаницы, которую создают такие переводы на английский язык [в английском оригинале], я буду брать слово «Russian» в кавычки тогда, когда оно обозначает *российский*, а не *русский* – например, «Russian» Federation.)

Еще одна характерная особенность русского империализма, которая дает ему возможность избежать постколониальной таксономии, связана с распределением власти и знания между метрополией и периферией. Для западного колониализма характерно концентрирование власти и знания в метрополии, и именно на этом базировались его претензии на доминирование. А вот русское колониальное правление преимущественно опиралось лишь на власть, а не на объединение власти и знания. Поэтому народы, которые жили у западной и юго-западной окраины русской империи, воспринимали себя в цивилизационном плане даже выше метрополии. Их психология как покоренных народов отличалась от психологии народов колониальной Британии. Индусы могли относиться к британцам как к врагам, но, пускай и неохотно, признавали их цивилизационное лидерство.

Современный чешский писатель Милан Кундера (как и эстонский – Яан Кросс) приводит многочисленные примеры тому, как во времена русского правления их народы свысока относились к колонизаторам⁵. В некоторых республиках русской (и советской) империи существовала уникальная ситуация, когда на империалиста смотрели сверху вниз те, на кого была направлена его власть. Понимание русской цивилизационной отсталости было в XIX в. настолько распространенным, что даже такие друзья России, как барон Август фон Гакстгаузен (August von Haxthausen), который путешествовал по России за деньги царя Николая I, заметил: «[Западные] страны, покоренные Россией, имеют по большей части культуру, высшую по срав-

нению с культурой их завоевателя». Он имел в виду Финляндию, Балтийские провинции, Польшу и Грузию⁶. Другой стороной медали была русская озлобленность (*ressentiment*) по отношению к колонизированным, которые не воспринимали русских с достаточным уважением, и это чувство выражалось в жестоком поведении по отношению к «этим западникам». Попытки в русской литературе уменьшить роль и удержать в узде непокорных «западников» принадлежат к особой категории враждебного отношения к Другому. Достоевский вывел уничижающие портреты поляков в «Братьях Карамазовых», а Пушкин и Тютчев заняли по отношению к ним позиции оскорбленного превосходства. Менее значительные писатели действовали еще более оскорбительно. В стихотворении, опубликованном в газете «Правда» 18 сентября 1939 г. вскоре после инвазии в Польшу нацистских и советских войск, советский русский поэт Николай Асеев злорадствовал по поводу польского поражения следующим образом: «От Польши осталась самая малость... / Они не любили повадок наших, / Вельможный кривили рот». Вывод таков, что теперь они получили то, что заслужили⁷.

Тогда как западный империализм был в определенной степени объединяющим, русский империализм оказался явно центробежным. Англичане сначала ввели на Британских островах свой язык, а потом сделали его *lingua franca* мира. Москва не достигла успеха в создании единой жизнеспособной культурной общности для территорий, наций и племен, доминионом которых она себя провозглашала в течение десятилетий, а в некоторых случаях и столетий. Разномерный дискурс территорий от Средней Азии до Центральной Европы был напряжен тем, что Сэмюэль Хантингтон (Samuel Huntington) называл столкновением цивилизаций. Британская империя также не была однородной. На землях, которыми владели англичане, жили враждующие цивилизации (в том значении, в котором этот термин употреблял Хантингтон), но многие из них сохранили английский язык и после колониального периода. Русский язык не имел такой силы. Даже там, где некоторые колонии усвоили русский язык, они не приняли русскую национальность (проводя параллель с Ирландией); в 1990-х началось активное возвращение к родному языку (так же как и отказ от кириллического алфавита, введенного Советами). Похоже, что не только степень разнообразия и размеры империи помешали успешной русификации, проводимой метрополией, но и характер самой русской имперской системы.

Может быть, русский империализм потерпел неудачу потому, что слишком долго, по сравнению с западными колонизаторами, держался на солдатах и оружии, которых не удалось заменить идеями. Всюду поддерживая русскую культуру, он делал это, демонстрируя превосходство России, что было унижительно для колонизированного. Западный империализм предложил национальным элитам избыток европейских интеллектуальных традиций, поэтому постколониальные исследования появились одновременно и в западных университетах, и в колонизированных странах. Правда, иногда слышались предостерегающие голоса, выражающие беспокойство, что метрополия оказалась в зоне культурного влияния «периферийных»

практик⁸. И хотя эти опасения оказались преувеличенными, но западные эпистемологические и социальные системы вынуждены были признать определенные противоречия между высокими идеалами метрополии и суровой реальностью колониального насилия на периферии. В отличие от западного, русский империализм был слишком неуверенным в себе, он заботился лишь о промоции русской культуры, но в ситуации эпистемологической нищеты не мог продуцировать идеи в культурные сферы колонизированных территорий. Тогда как Индия переняла британскую демократическую систему, британское образование и в значительной степени английский язык, не-русские в пределах бывшей советской империи прилагали все усилия в 1990-х для того, чтобы удалить у себя следы «русскости», настолько отвратительной казалась им шовинистическая промоция колонизатора.

Русский язык, на котором раньше разговаривали на территории империи, вытесняется родными языками во всех странах, кроме Беларуси. В Украине, где похожесть языков привела к определенным сложностям, в 1990-х систематически предпринимались идеологические усилия избавиться от остатков русскости, и это нельзя считать лишь проявлениями украинского шовинизма. В эти годы в Центральной Европе также наблюдалось резкое снижение интереса ко всему русскому⁹. На Втором Всемирном конгрессе татар, которой прошел в Казани в 1997 г., Республика Татарстан (этническая республика в составе Российской Федерации) утвердила латинский алфавит для татарского языка¹⁰. Такой лингвистический сепаратизм говорит о том, что на протяжении более чем четырех столетий подчинения татарских ханств России татарская и русская культурные элиты жили своими отдельными жизнями¹¹. В Центральной Азии возвращение к тюркским корням было заторможено по экономическим соображениям. Кавказ покорен русской военной силой, но Грузия и Армения отстаивали превосходство своих родных языков над русским даже во времена коммунизма (и при этом защитили свои некириллические алфавиты). Возможно, наиболее существенное сужение сферы употребления русского языка произошло в Литве, где кириллица практически исчезла из публичного пространства. В Западной Европе и Соединенных Штатах также имеет место резкое сокращение изучения русского языка и снижение внимания ко всему русскому; это является дополнительным подтверждением того, что интерес к русской культуре в мире не в малой степени базировался на почтении к советским вооруженным силам¹².

Эдвард Саид заметил, что объединяющая сила западной культуры сплотила Запад и его бывшие колонии в единую культурную сферу с общими стремлениями и позициями. На постсоветском Востоке имел место обратный процесс. Расширение НАТО является, наверное, самым ярким примером дезинтеграционной силы русско-советской империи. Немногие страны также сильно хотели присоединиться к НАТО, как те, которые были в русской сфере влияния. Не-русские советские спешили показать миру, что они *не* Россия, что они отличаются от России. Как отметил Пол Гобл (Paul Goble), похоже, что каждый следующий кризис в Российской Федерации

все больше отдаляет от нее когда-то советские республики и поэтому Содружество Независимых Государств становится все менее жизнеспособным¹³.

Поэтому модели построения нации, описанные Майклом Гехтером (Michael Hecter) относительно колоний Запада, не могут применяться к русским доминионам. Первая модель Гехтера (модель диффузии) предусматривает распространение власти и знания от метрополии к периферии, а вторая основывается на феномене внутреннего колониализма, который часто играет важную роль в развитии народов¹⁴. Модель диффузии предполагает, что сильная социальная группа притягивает остальные при помощи социального осмоса, ее язык и традиции в конечном итоге принимаются более слабой группой. Подобным образом экономические порядки более сильных групп распространяются от одной территории до другой (хоть Гехтер и признает, что в реальности диффузия кажется «чем-то мистическим»). Но разделение труда нивелирует различия между метрополией и периферией, в результате чего и формируется единая нация. Согласно модели внутреннего колониализма, культура метрополии не спешит отказываться от своего доминирующего статуса, что приводит к эксплуатации периферии и отрицает всякую возможность равенства. «Подчиненное общество приговорено к инструментальной роли по отношению к метрополии»¹⁵.

Ни одна из этих двух моделей не может быть вполне применима к русскому колониализму. Хотя формально русская историография вроде бы опиралась на первую модель (диффузии), когда утверждала, что народы и государства, присоединяясь к России, добровольно вступали в российскую семью народов. Но при более внимательном рассмотрении становится очевидно, что это утверждение не правдиво. Даже Грузия (любимый пример русских историографов) не хотела присоединиться к России – она договаривалась о защите от турков, а не об инкорпорации в русскую империю. Известное выражение Солженицына, что [царская] «Россия... не знала вооруженного сепаратистского движения» и «[трудовых] лагерей», является фантазией, не достойной великого писателя¹⁶. Так же как и в случае с другими империями, практически все не-русские территории, которые становились частью царской империи, а затем Советского Союза, были присоединены с помощью военной силы или дипломатического давления. Что же касается модели внутреннего колониализма, то она базируется на схеме, в которой метрополия экономически и культурно более развита по сравнению с периферией. Как говорилось выше, эта схема не работает в отношении западных и юго-западных окраин Российской империи.

Доминирующее правило сопротивления ассимиляции и отторжения от собственно русского дискурса имеет некоторые исключения. Угро-финское население, которое проживало в северо-западной России, было в значительной степени ассимилировано уже в конце XIX в., определенный процент тюркского населения на южных и восточных землях империи также находил себя в границах русской культурной идентичности¹⁷. В повести Андрея Белого «Петербург» (1916) один из ее героев, сенатор Аполлон Аполлонович Аблеухов, предстает русифицированным

и христианизированным потомком мирзы из киргизских степей, о чем свидетельствуют его фамилия и внешность. Сенатор – человек культурно русский, несмотря на примесь «азиатских черт», которые для Андрея Белого являются таинственной и повсеместной составляющей русской культуры.

В общем русские охотно принимали национальные элиты, если те соглашались на утрату своей культурной идентичности и русификацию (правда, это общее положение не отрицало определенной снисходительности относительно «не-белых»). В отличие от азиатских и африканских интеллектуалов, которые осознавали, что западные колониальные хозяева смотрят на них свысока, жители Центральной и Восточной Европы в России встречались с распростертыми объятиями, если они принимали лингвистическую и культурную идентичность русских. Нельзя отрицать радушие, с которым русские приветствовали отказ от немецкой, польской, украинской, литовской, латышской или эстонской наций в пользу их собственной. Этим перебежчиков не только принимали как русских (что невозможно представить себе в случае с англичанами относительно индусов), но и принимали с благодарностью. В качестве примера можно привести журналиста Фаддея Булгарина, генерала Г.К. фон Штакельберга, государственного деятеля С.Ю. Витте, поэтов Владислава Ходасевича и Ирину Ратушинскую, писателя Николая Гоголя и политического обозревателя Отто Лациса.

Однако на протяжении всего существования империи население, которое не идентифицировало себя с русской метрополией, составляло примерно 50%. Среди остальных определенная часть называла себя русскими ради собственной выгоды; когда же быть русским переставало быть выгодным, они меняли свою идентичность. Подчиненные народы были слишком многочисленными и отдаленными географически, чтобы их можно было быстро русифицировать, а многие из них и не желали этого. Одной из причин неудач русских в ассимиляции национальных меньшинств был их чрезвычайный территориальный аппетит; захваченные территории оказались слишком обширными для того, чтобы относительно слабо развитая культура могла их поглотить и сделать своими. Но более всего русской культуре недоставало надежной философской базы, которой у Запада было достаточно и которую он использовал для обоснования своих «цивилизационных» завоеваний. У русских в XIX в. появилось несколько гениальных писателей, которые дали русской литературе место среди величайших литератур мира, но, несмотря на это, философская мысль в России до сих пор остается в зачаточной стадии, что отрицательно влияет на восприятие русской культуры со стороны подчиненных наций. А в XX в. ситуацию ухудшило еще то, что Лешек Колаковский (Leszek Kołakowski) назвал магическим мышлением советского марксизма¹⁸. Короче говоря, России недоставало авторитета, который может обеспечить только культура, чтобы получить признание среди колонизированных народов.

Все эти трудно различимые связи власти выпали из внимания большинства западных исследователей России, хотя им хорошо известна методология ориен-

тализма, которая вскрывает у власти Запада позиционный приоритет над периферией как сферой политически и культурно более низкой. Именно подобная таксономия была перенесена на Россию и ее доминионы. Например, Джордж Кеннан (George Kennan) в своих геополитических размышлениях не однажды давал понять, что колонии русской империи находились на более низком уровне в политическом и культурном отношении. Его сопротивление расширению НАТО в Центральной Европе – он представлял меньшинство американских политиков – базировалось на классических посылах ориентализма¹⁹. Кеннан считал, что Россия имела законное право политически доминировать в Центральной и Восточной Европе из соображений собственной безопасности. Этот аргумент очень похож на те, что выдвигали британские и французские колонизаторы, для которых наличие колоний было необходимым условием сохранения величия Британии или Франции. В дебатах о расширении НАТО (США, 1997 г.) большую роль сыграли колониальные взгляды ученых и государственных деятелей, которые признавали право России на военное господство над не-русскими территориями и народами. За некоторыми исключениями, мысль о политическом и культурном превосходстве России по отношению к Восточной и Центральной Европе все еще доминирует в американском академическом дискурсе и является одной из основных предпосылок перцепции, в соответствии с которой утверждение «Россия прежде всего» для значительного количества ученых-славистов в Соединенных Штатах остается непреложным на протяжении последних поколений²⁰. И это происходит несмотря на то, что список поддерживающих расширение НАТО в Центрально-Восточной Европе читается как «Who's Who» в американской дипломатии. Привилегированное положение России в публикациях и политике таких организаций, как Американская ассоциация поддержки славистических исследований и Американская ассоциация преподавателей славянских и восточноевропейских языков, можно увидеть уже в содержании их журналов и в названиях секций конференций: в обоих случаях Россия трактуется так, как будто она является единственным объектом, достойным серьезного и взвешенного анализа и комментария. А периферия воспринимается лишь как пользователь интеллектуального богатства, накопленного в Москве и Санкт-Петербурге. Имперское существо России по-прежнему не критически воспринимается академическим миром, несмотря на то что постколониальный дискурс уже в значительной мере изменил самоинтерпретацию западных имперских сил.

Имидж современной России, замороженный в стадии имперского величия XIX в., привел к лигитимации тона скромной невинности, который пронизывает значительную часть русской литературы – от Гоголя и Достоевского до Распутина и Солженицына (хотя в западном дискурсе сейчас обычным является самоосознание колониальных проступков). Эта невинная модель, выработанная прочтением русской литературы как на Западе, так и в самой России, маскирует колониальную эксплуатацию и усиливает в русском культурном дискурсе некритичное самовосприятие, которое иногда ошибочно принимают за психологическую глубину. Фантом

национального величия, которое базировалось на колониальной гегемонии, имел место не только в России, но также в Великобритании, Франции и США, однако там он теперь развеялся и стала отчетливо видна темная сущность угнетения и дискриминации Другого. Этого не случилось в России – ни политически, ни культурно. Как сказал Ричард Пайпс (Richard Pipes) в 1997 г: «Модифицированная доктрина Брежнева все еще жива. Деколонизация проходит нерешительно»²¹. Питер Форд (Peter Ford) отметил, что «в основе отношения России к ее бывшим колониям лежит общее глубокое убеждение, что она оказывала на них позитивное влияние, которое радушно принимали народы Кавказа, Центральной Азии и Восточной Европы»²².

В отличие от колоний Запада, которые все активнее заявляют о своих правах перед бывшими хозяевами, колонии России в своем большинстве пребывают в молчании, иногда из-за нехватки национальных элит, получивших образование на Западе, и всегда из-за отсутствия поддержки западных академических кругов при исследовании проблем, приоритетных для этих народов. Их и далее воспринимают в парадигме, связанной с Россией, и скорее как объекты русского восприятия, чем как субъектов, говорящих о собственной истории, позиции и интересах. Джордж Кеннан продолжает употреблять термин «русские», рассуждая о советской политике и о том, что Российская Федерация должна была бы делать в будущем. Такой подход к проблеме означает, что не-русские не только не принимаются в расчет, но они и *не должны* приниматься²³.

Народы, над которыми была установлена гегемония, структурировали свои дискурсы скорее вокруг проблем иностранного угнетения и борьбы за освобождение от него, чем вокруг достижения менее явной, но более эффективной победы, которую могли дать постколониальные дискурсы и их перспективы. Остается непонятным, были ли постколониальные дискурсы уничтожены цензурой и угрозами (что, безусловно, постоянно присутствовало в русской культурной политике) в своем зарождении или же пересмотр проблем колониализма оказался невозможен по причине интеллектуальной бедности, распространенной на территории, где господствовали русские. Запад интерпретировал отсутствие постколониального дискурса в соответствии с правилом, что если нет дискурса, то нет и проблемы. Как убедительно показали постколониальные писатели, тех, кто представлен в литературе не самостоятельно, а через кого-то, неминуемо ожидает понижение статуса. Пока ориентированные на Запад субъекты русской и советской империи тратили свою энергию на сопротивление русификации и советизации, Советы достигли в публикациях на русском языке ощутимых результатов в формировании негативных стереотипов об этих непокорных субъектах своей империи. Распространение подобных материалов на Западе было соизмеримо с военным и политическим влиянием советской империи. Вопрос формирования стереотипов подобного рода еще ожидает тщательного изучения.

В связи с этим некорректным оказывается утверждение постколониальных комментаторов, что история – это «дискурс, через который Запад утвердил свою

гегемонию над остальной частью мира»²⁴. Мир никогда не был поделен на две равные части – Запад и не-Запад. Такая бинарная оппозиция пренебрегает фактом, что Россия прилагала огромные усилия для создания своей собственной истории, которая, с одной стороны, частично противоречила истории, написанной Западом, а с другой стороны, истории, которая формировалась усилиями тех, кого Россия колонизировала. При этом России удалось успешно накладывать части своего исторического дискурса на дискурс, созданный Западом, смешивать их или подавать собственное мнение в форме вроде бы общепринятых комментариев и утверждений. Вход в западный дискурс через боковые двери укреплял невидимое присутствие в нем России как третьей стороны.

Россию иногда воспринимают как «кузину» Запада: этому способствуют былые династические связи между Романовыми и Виндзорами, а также подобные связи с Западом иных древних родов России. Поэтому интерпретации, послышки и характеристики из дискурса русской истории (и связанные с этим предрасположенности, симпатии, влияния) в такой огромной степени использовались западной культурой, что за их совокупностью русское агрессивное самоутверждение сделалось почти невидимым. Только тот факт, что даже в постколониальные времена в западных университетах практически отсутствует русский империализм как предмет изучения, свидетельствует о степени риторического успеха, которого достигла Россия. Поэтому Центральная и Восточная Европа, Сибирь, Средняя Азия и земли на берегах Черного и Каспийского морей являются, по сути, белыми пятнами на постколониальной карте мира, а их географию и культуру относят к «Российской империи», «Советскому Союзу», «советскому блоку» или «российской сфере влияния». Ведущий американский советолог из Принстонского университета Стивен Кoen (Stephen Cohen) стал известен своим высказыванием о том, что Михаил Горбачев самовластно организовал радикальные изменения в России и Восточной Европе. Поэтому Россия должна восстановить свое влияние в регионах, которые вынужденно покинула, что в конце концов она и сделает²⁵. Оскорбительные выдумки о том, что русские доминионы остались под властью Москвы добровольно, консервируются в таких выражениях, как «страны Варшавского договора», «коммунистические страны», «Россия и ее многочисленные национальности». Постколониальные исследователи уже давно выявили все основные противоречия «Британского содружества», а вот относительно России подобный процесс еще даже не начался. Определенную роль здесь сыграло и наличие частичного согласия колонизированных народов на колониализацию, как это имело место и в колониях Запада в XIX в.²⁶

В отличие от колониальных государств Запада, которые гарантировали своим титульным национальностям политические и экономические свободы, Россия получила доступ в круг европейских империй, имея социальную систему, которая привилегировала русскую культуру, но не российских граждан. При отсутствии социальных свобод в европейском смысле русские интеллектуалы постоянно нарекали, что их положение в империи не лучше, нежели у подчиненных народов.

Эти жалобы пережили советскую эпоху, и их красноречиво подтверждает высказывание Александра Солженицына, которое мы приводили выше. Ситуация одинакового бесправия российских граждан и сегодня помогает метрополии не чувствовать своей вины по отношению к периферии. Ирония заключается в том, что диссидент Солженицын нашел большую и готовую его слушать аудиторию на Западе лишь потому, что Россия была огромной военной и риторической империей. Многие люди до него пытались привлечь внимание Запада к феномену ГУЛАГа, но они не были вооружены имперским авторитетом и поэтому им не удалось произвести должного впечатления²⁷. Особое отношение к нему осталось не замеченным и самим Солженицыным, и его толкователями – это всего лишь один из множества примеров признания особых прав метрополии и притеснения периферии.

В практике империи ретуширование картин реальности для повышения собственного престижа иногда приобретает комические размеры. В журнале «Огонек» за 18 мая 1998 г. содержится статья о европейском зубре. В ней читателям сообщается, что зубры являются родственниками вымерших мамонтов и что последний зубр в Беловежской пуце, расположенной на польско-белорусской границе, был убит в 1919 г. Однако, продолжает автор, совсем иная картина наблюдается в лесах России, где сохранилось много зубров. Затем в статье подробно описывается их перемещение из лесов вблизи реки Ока в леса Рязанской области.

То, что «Огонек», рассчитанный на широкую аудиторию, занимает своего читателя историей о зубрах, выглядит вполне естественно. Но статья, которая на первый взгляд кажется далекой от колониальной проблематики, на самом деле демонстрирует превосходство метрополии над окраиной через недостоверную информацию. К тому же здесь подчеркивается неспособность периферии управлять своими национальными парками и преимуществами, пускай только и в охране зубров, имперского центра. На самом деле зубры в Беловежской пуце живы и здоровы: в 1980 г. их было 593, а в 1994 – 662²⁸.

Вот подоплека этой истории. Национальный парк Беловежская пуца является сегодня одним из немногих в Европе, где еще сохранились непроходимые леса. В отличие от лесов Рязанской области Беловежская пуца славилась своими зубрами на протяжении столетий. Поэтому, унаследовав разоренную пуцу после Первой мировой войны, правительство Второй Речи Посполитой восполнило утраченных зубров животными из польских зоопарков, и с того времени они стали основной ее достопримечательностью. Местные лесники тщательно их охраняют²⁹. Статья в «Огоньке» незаметно подводит читателя к мысли, что Беловежская пуца, в отличие от лесов Рязанской области, находится в экологическом запустении. Как это часто бывает в дискурсе имперского мышления, способность метрополии делать все лучше, чем периферия, зашифрована даже в развлекательном очерке. Как показывает Дэвид Кэннедайн (David Cannadine), одной из колониальных практик было прописывание превосходств империи в материалах, которые не имеют отношения к политическим проблемам. Европейские империи XIX в. использовали эту практику

в огромных масштабах³⁰. В европейском колониальном дискурсе на выстраивание престижа метрополии работали не зубры, а флаги, парады, школы, мосты, правительства, философия и социальные структуры. Значительная часть перечисленного отсутствует в русской колониальной традиции, и поэтому ей требовались какие-то иные субституты, которые могли бы выстраивать репутацию России как дома, так и за границей. Статью о зубрах следует рассматривать как раз в таком контексте. Версия событий, которую подает «Огонек», является типичным стабилизационным методом, который должен поддерживать превосходство русских. Утверждения и внушения подобного рода, вписанные в массовую культуру, должны формировать ощущение, что Россия все делает лучше, чем ее соседи. Тривиальная проблема зубров замечательно демонстрирует механизм этой процедуры. Постколониальная теория называет такие практики *терминологическим присвоением* одной культуры другой.

Правда, Запад никогда подобным образом не присваивал Россию. Хотя попытки определить место России в западном дискурсе делались в XVI и XVII вв., когда английские путешественники и послы в Московии писали о «невежественном и варварском королевстве»³¹. Но по мере усиления Московии и становления ее как русской империи эти попытки прекратились, особенно после громких военных побед России. Иными словами, Запад никогда не стремился завоевать Россию таким же образом, каким завоевал большую часть мира. Более того, Россия сама выявилась захватчиком относительно Запада, сначала стеснительным и культурно неуверенным в себе, а затем, по мере стремительного роста захваченных территорий и увеличения могущества армии, все более и более самонадеянным.

Таким образом, сопоставление в рамках постколониальной теории концептов Оrientsа и Оксидентa показывает скрытые культурные пространства, которые Оксидент не смог присвоить. Московия была на грани такого присвоения, но уже империя Петра и Екатерины Великой выскользнула из дефиниций, навязанных Западом остальной части мира. Россия вплотную приблизилась к Оксиденту, когда тот поглотил ее западных соседей в 1795 г. Тогда пришло время династических и других союзов, в результате чего (после грандиозного удовлетворения колониальных appetитов) нецивилизованная Московия превратилась в величественную и таинственную Россию. Замужество родственников королевы Виктории с кем-то из царствующей индийской или африканской семьи было абсолютно невозможным, а вот русская элита для этого вполне подходила уже хотя бы потому, что имела белый цвет кожи. Екатерина Великая была этнической немкой, рожденной в немецком княжестве, но приняла православие и научилась говорить по-русски (хотя и плохо) – подобная метаморфоза была бы невозможной при ином цвете кожи. К концу XVIII в. Россия заняла место за общим европейским столом. Династические союзы ее правителей и дипломатические успехи в сфере международной деятельности определили новую форму отношений с Оксидентом. Шаг за шагом Россия начала вписываться в мировую историю не как страна третьего мира или часть от-

даленного Ориента, по отношению к которому можно было бы допустить позицию превосходства, но скорее как великая и могущественная, почти равная западным империям держава, у которой имелся собственный аппарат оценки Другого (небелого азиатского населения). Россия не стала для европейских завоевателей проблемой. Они даже не стремились опорочить тот образ России, который сформировали писатели Просвещения, такие как Вольтер, или сама Екатерина Великая. На сломе XIX в. образ России, зафиксированный в памяти Запада, был очень далеким от упомянутого когда-то британскими морскими путешественниками – «невежественного и варварского королевства».

Это было серьезное изменение. Когда Россия вошла в западный дискурс почти на равных, ее статус как колониальной державы сделался еще менее заметным. Превращение России из отсталого Другого в «почти одного из нас» не слишком озаботило западное сознание, занятое в то время вопросами индустриального развития и собственной колониальной экспансии. Однако важность этого изменения понималась русскими элитами, обеспокоенными тем, что восприятие России в Европе ненадежно балансировало между старым образом, восходящим к тем временам, когда московиты классифицировались как варвары, и ее новым образом, который частично обеспечивал равенство с передовыми странами Европы. Русские элиты получали образование, которое внешне соответствовало европейской модели, и хотя количественно элита составляла меньше процента от всего населения, ее голос был решающим. Как говорил Александр Пушкин, они все учились чему-нибудь и как-нибудь, читали Адама Смита и вызубрили латинский алфавит в достаточной степени, чтобы написать *vale* в конце письма. Огромным усилием в России были созданы школы, научные общества, театры, министерства и другие культурные и общественные институты, имитирующие западные модели. Некоторые из этих институций, такие как Большой театр и музей «Эрмитаж», оказались очень эффективными для трансформации России в одного-из-нас, а также для стирания ее образа как не-западной державы. Великолепная новая литература продолжала перепределять Россию для Запада, вытесняя представление о ней как о неотесанной и неграмотной стране. Голос этой новой России заглушал голоса тех, кто указывал на ее неизменно репрессивную сущность: недовольные покоренные народы, оказавшиеся на задворках Европы; разного рода политические диссиденты, которые умирали в тюрьмах Сибири после того, как должным образом потрудились на благо империи; случайные путешественники, такие как маркиз де Кюстин (*de Custine*) или Йозеф де Мэстр (*Joseph de Maistre*), который в конце своего пребывания в Санкт-Петербурге понял, что Россия переполнена потемкинскими деревнями. Русские писатели выполнили задачу вытеснения несогласных голосов, Запад посчитал Россию одним-из-нас и вычеркнул ее из списка колониальных империй, которые подвергались реконцептуализирующей переоценке.

Конечно, имели место и исключения. Воспоминания о путешествиях в Россию упомянутого выше маркиза де Кюстина, опубликованные в 1839 г., стремились при-

влечь к этой стране пристальный интеллектуальный взгляд Запада. Но хотя книга и приобрела в свое время славу, ей не удалось заметно повлиять на представление западного человека о России³². Короче говоря, в отличие от западных, русская империя не породила критического отношения к созданной ею интертекстуальности.

Размышляя о русской культуре, русские интеллектуалы следовали обычным путем колонизаторов. Они обрекали на молчание те культуры, которые были хоть в каком-нибудь смысле соперниками России (своих колонизированных соседей), и в то же время умело сопротивлялись Западу, стремившемуся подчинить весь мир своему культурному языку. Россия сохранила определенную степень независимости в формировании своего собственного образа на Западе, – привилегия, которой были, как правило, лишены остальные мировые культуры. Известная ремарка Уинстона Черчилля о загадочной России означала капитуляцию перед русским культурным текстом, который Запад не смог расшифровать. Поэтому России было позволено существовать в сфере, которую «просвещенный» Запад описывает как загадочную. Такое признание гарантировало России, что в ее определение своего культурного пространства вмешательства не будет. Это признак капитуляции. Абсолютно неимперским образом Черчилль отдал Другому право решать, кем этот Другой должен быть. При таком подходе Другой, конечно, был скорее империей, чем объектом колонизации. Такой добровольный отказ Запада от права на собственную интерпретацию развязал России руки в формировании своего образа так, как это было ей выгодно. Запад был настолько напуган загадочной инаковостью России, что не осмелился подойти к версии ее истории с теми вопросами, которые задавал себе: каковы способы удержания Российской империей Другого? Как империя маскировала свои действия по отношению к Другому? Что в русской истории является на самом деле историей Другого?

На протяжении двух последних столетий русские интеллектуальные элиты полагали правящему классу изобретать риторические решения для сокрытия имперских слабостей и экспансионистской природы государства. Его территория была огромной, но население – нет. Русская культура была привилегированной, однако народы империи не были полностью русифицированы. Начиная с XVIII в. русские элиты были заняты поисками общей почвы, на которой могли бы объединиться все жители этой огромной территории. Одним из следствий этих поисков было введение во внутренний русский дискурс словаря, который способствовал бы укреплению империи, а именно терминов «российский» и «великороссы». Скрытые приемы, одобряющие колониализм, вскрывались и критиковались в большинстве европейских литератур, обеспечивая дополнительные стимулы для деколонизации и создания того здорового *дискамфорта*, с которым стали присматриваться к себе и высокомерные ранее культуры³³. Этого не случилось с Россией.

Трактовка исторической географии России

Впервые мысль об изучении текстуального выражения русского колониализма у меня появилась, когда я заметила несоответствия между стандартами интерпретации русской литературы, принятыми на факультетах английской и славянской филологии в американских университетах, как и в работе Алана Чу (Allen F. Chew) «Atlas of Russian History: Eleven Centuries of Changing Borders»³⁴. Этот «Атлас» показал суть политического образования, географическое и административное развитие которого было беспрецедентным в мировой истории. Московия в XVII в. была темной и сравнительно маловлиятельной державой на окраинах Европы, но уже русская империя, на смену которой позже пришел Советский Союз, стала мировой державой, к тому же провозгласившей себя самой великой страной мира. Трагическая история бесчисленных войн, оккупаций, угроз, несправедливых договоров, аннексий, деклараций и многочисленных измен представилась мне основой для заманчивых исследований становления России, захватывающей деревню за деревней, город за городом, реку за рекой, степь за степью. Монументальные политические трансформации, инициированные русскими, затрагивали людей многих этносов и вероисповеданий (в том числе и самих русских). Позиции и действия подданных этой империи были ограничены местом, которое они занимали в имперской иерархии. Русская литература в этом процессе играла роль посредника. Замечательные герои Толстого и Достоевского, Пушкина и Лермонтова, Тургенева и Чехова, Солженицына и Рыбакова являются частью русского колониального проекта.

История России, как ее преподносит в «Атласе» профессор Чу, это история тотальной и дорогостоящей экспансии на Восток, Запад, Север и Юг. Между XVII и XIX вв. империя расширялась со средней скоростью пятьдесят пять квадратных миль в день. Такая скорость экспансии не позволяла полностью русифицировать аннексированные территории, что делало империю постоянно нестабильной. Более двух столетий, до 1914 г., Россия преимущественно укреплялась за счет внутреннего валового продукта. В 1720 г. Петр I потратил на армию 96% бюджета страны. В XVIII в. каждые сто жителей государства, в котором господствовали русские, содержали троих солдат, тогда как в Западной Европе приблизительно такое же количество граждан были обременены содержанием лишь одного солдата³⁵. В XIX в. Россия закрепила свою власть над бывшим Польско-Литовским Содружеством и на Кавказе, но в то же время участвовала в «Большой Игре» за богатства Азии. Военные предприятия России были успешными, однако содержание непропорционально большой армии в корне изменило общественную жизнь России и ее культурный дискурс. Нарратор в повести Льва Толстого «Казачьи» (1862) между прочим упоминает о многих случаях, когда казацкие села были переселены на Кавказ, чтобы держать под контролем местное население и обеспечивать базу для дальнейших завоеваний. Подобные перемещения населения происходили вокруг Черного моря, в Балтийском регионе и в Сибири. На экономических жертвах, понесенных русским

народом, держались колониальные завоевания России, и эти мотивы жертвенности весьма часто отображались в русской литературе.

Экспансия России на прилегающие территории была неразрывно связана с бесконечным насилием, которому подвергались как завоеванные, так и завоеватели. Это насилие запечатлелось в имперской общественной и политической памяти, а также в географической таксономии. Достаточно вспомнить, что на протяжении веков слово «Сибирь» ассоциировалось с принудительными трудовыми лагерями. Более того, ненасытный территориальный аппетит России привел к излишкам земли в империи (также в Советском Союзе и в постсоветской России). Михаил Шолохов в «Поднятой целине» (1931) отобразил идеологические проблемы, связанные с избытком земли в условиях советской власти. В царской империи размеры избыточных территорий делали практически невозможной ассимиляцию и власть закона. Осознание земельных излишков постепенно возрастало в русской литературе и давало сюжеты для литературных произведений и мистических интерпретаций географических пространств (так, Достоевский трактовал Сибирь как место для наказания и очищения ради будущего). Возможно, именно это стало причиной представления о России как о слишком обширной и многообразной стране, чтобы ей можно было управлять «рациональным» путем. Россия, таким образом, становится мистической сущностью, которой судьбой предначертано быть *единой и неделимой*. С другой стороны, на обширность России также возлагали ответственность за невозможность империи обеспечить своим гражданам жизненный уровень, который превалировал в метрополиях европейских империй. Почти всегда в истории России на всей ее территории от пригородов Москвы до Владивостока люди существовали на грани выживания.

При обычном прочтении великих произведений русской литературы все эти проблемы почти не заметны. Опыт персонажей здесь оценивается в терминах общечеловеческого опыта, с искусно скрываемыми элементами империализма. Интерпретируя произведения русской литературы как свободные по сути от вовлечения в военную ситуацию России, русские и западные комментаторы поддавались эффектной способности этих текстов избегать взгляда критика, который смог бы показать их службу интересам империи. Русская литература была впечатляюще успешной в ведении, поддержании и управлении дискурсом о себе таким способом, чтобы уклониться от внимательного изучения, подобного тому, которое постколониальные критики провели над британской, французской и иными западными литературами. Я называю такие прочтения кафкианскими, потому что они игнорируют связь между русской литературой и русской империей, размещая героев в как будто ничейные земли, подобные тем, в которых живут герои Кафки. На первый взгляд, чисто русские реалии великих русских романов делают их достаточно непохожими на кафкианские бесцветные и безмянные места действия. Однако с текстами Кафки их роднит экзистенциальная простодушность и безысходность, что делает центром интерпретации скорее фатум, чем соотношение между властью

и ее подданными. Будем надеяться, что некогда все-таки появятся исследования о том, как русские писатели структурировали свое согласие или несогласие с русским империализмом, присваивали в своих произведениях земли империи и приписывали Другому те характеристики, которые им были удобны у Другого для данного порядка вещей.

В отличие от «Атласа» Чу, русские историки, чьи книги формировали американскую визию России, фокусировали свои нарративы не на проблемах завоевания и агрессии, но на той цене, которую русские заплатили за эти завоевания. Некоторые из этих историков купились на идею, что Россия беспрецедентным образом пострадала от иноземных инвазий и что эти вторжения были постоянным несчастьем русского народа. Миф инвазий сформировал русскую визию жизни и русское политическое поведение, а позже был перенесен в западные интерпретации³⁶. Образ жертвенности стал настолько сильно ассоциироваться с восприятием России в англоязычном мире, что его вытеснение и сегодня практически невозможно. Этот образ увековечивается книгами и утверждениями, распространенными в самых различных дисциплинах и сферах. Территориальное расширение России считается нормой, тем, что должно было произойти, а вот обратный процесс интерпретируется как катастрофа.

В противопоставление образу русского страдания «Атлас» показывает, что на центральные земли России – тульскую, рязанскую, костромскую и вологодскую – никто не вторгался со времен раннего средневековья. Наоборот, сами русские множество раз мобилизовались на завоевание владений, заселенных другими народами, основывая военные колонии в регионах, которые называли российскими сразу же, как только там ставился первый военный гарнизон. «Атлас» более, чем какая-либо иная книга, развенчивает русский миф инвазий. Книга обращает внимание на то, что этническая Россия после формирования Московского государства почти всегда оставалась фактически свободной от иноземных оккупаций. Непродолжительные польские и французские нашествия в 1610 и 1812 гг. соответственно сводились к небольшим колоннам солдат, пересекающих обширные территории на пути к Москве, тогда как бесчисленные русские села и города продолжали жить так же, как и раньше, не видя иностранных завоевателей и никогда не платя налогов оккупантам. В начале XIX в. средняя скорость человека, который ехал верхом, была приблизительно 10 миль в час³⁷. Польский набег на Москву и французская попытка подчинить себе Россию проходили вдоль длинного пути, ширина которого редко превышала 50 миль. Немецкое вторжение в 1941 г., хоть и было катастрофичным во многих аспектах для русских, преимущественно разрушило советские республики Украину и Беларусь. Норман Дэвис (Norman Davies), комментируя известное утверждение о 20 млн погибших русских, говорит, что далеко не все они были русскими, не было их 20 млн и они не обязательно погибли на войне³⁸.

Это не означает, что Россия не пострадала во Второй мировой войне; она пострадала, и очень сильно. Как и от вторжения Наполеона (меньше во время поль-

ского набега). Но обратимся снова к «Атласу», как он описывает Вторую мировую войну в Советском Союзе. По сравнению с другими нациями и этносами, которые были полностью охвачены нацистским блицкригом, русские во Второй мировой войне имели возможность эвакуировать огромное количество людей и промышленных объектов за Урал, где те пережили войну практически невредимыми. Русским ученым не приходилось существовать рядом с врагом. В самой России немцы остановились возле Воронежа, который расположен за 1800 километров от Новосибирска (и они не заняли Москву). Хотя Ленинград был блокирован и значительно разрушен, его архитектурные и художественные ценности остались в руках русских.

Сравним это с тотальным разрушением больших и малых городов Центральной и Восточной Европы после нашествия иностранных солдат, которые грабили и убивали мирных жителей, а также после пожаров, вызванных бомбардировками и орудийными обстрелами. Хотя потери во время осады Ленинграда были трагичными, в процентном отношении этнически русское население пострадало значительно меньше, чем соседние этнические группы. Потери, принесенные ГУЛАГом, о котором говорил Норман Дэвис, также должны приниматься в расчет. Богатства ленинградских музеев не уменьшились на протяжении Второй мировой войны, а, наоборот, возросли за счет военных трофеев, привезенных из Германии и других стран; эти ценности остались в руках русских даже после распада Советского Союза³⁹. Немцы оккупировали лишь около 5% территории Российской Федерации на протяжении менее чем трех лет. А вот для западных соседей России война длилась шесть лет. В «Раковом корпусе» Солженицына студентка-медик Зоя и ее семья пережили войну, эвакуировавшись из Смоленска в Ташкент. Зоя выбрала эвакуацию русских от опасности как нечто само собой разумеющееся, лишь отметив в разговоре с Костоготовым огромные размеры «их» страны⁴⁰. Однако после Второй мировой войны русская литература настаивала на беспрецедентной жертвенности русского народа, и, за редкими исключениями, западные ученые без вопросов эту позицию приняли.

Постколониальные перспективы России

Хотя история, изложенная в «Атласе» профессором Чу, стимулировала пересмотр русской литературы в дискурсе русского колониального опыта, методология для проведения такого исследования появилась только с развитием постколониальной теории. Западные исследования, занимающиеся отношениями между европейской колониальной экспансией и подчиненными территориями в Азии и Африке, помогают мне в анализе русских текстов. Самые главные среди исследований – «Ориентализм» и «Культура и империализм» (1994) Эдварда Саида.

«Ориентализм» легитимизировал (и стимулировал) постколониальную теорию и постколониальные исследования, чем раньше они не могли похвастаться. Саиду оказалось не просто убедить издателя взять его книгу, настолько она расходилась со стандартными западными подходами описания Востока. Однако когда «Ориентализм» появился в печати, большинство обозревателей встретило книгу с энтузиазмом, и она нашла широкую аудиторию. Саид создал модель для дискурса, который впоследствии породил сотни изданий и книг. Распадающиеся западные империи и возрастающее осознание нелегитимности навязывания его дискурса недооцененному и демонизированному Иному привели к тому, что работа Саида оказалась в центре (или близко к нему) самых актуальных проблем академического мира.

«Ориентализм» реинтерпретирует концепт, созданный «империальными» писателями XIX в., направленный на текстуальное владение «меньшими расами», которые были подчинены силой оружия во время европейской борьбы за колонии. В своем первичном значении этот термин относится к корпусу текстов об Азии и Африке, написанных этнографами, антропологами, историками и путешественниками, которые коллективно анализировали и «владели» не-западными людьми в рамках методологии исторических исследований, характерных для эпохи Просвещения. Саид доказал, что визия ориентализма была искажена с самого начала внешней позицией классификаторов, а также тем фактом, что их исследования не были нейтральными по отношению к интересам империй, уполномоченными представителями которых они являлись. Их позиция как единственных выразителей смысла не-западных культур – в то время «аборигены» не могли ответить империи – давала им неограниченную свободу для произвольной классификации Другого. Это привилегированное положение также позволяло им конструировать какие угодно статические категории, примером чему является Ориент.

В соответствии с взглядами ориенталистов, Ориент был неизменной сущностью и его обитатели могли оцениваться только *en masse*; как индивидуальности они были не более чем иллюстрациями некоторых «типично ориентальных» характеристик. Таким образом, не-западные народы стали невольниками оценивающих интерпретаций, которые мыслились как неизменные в изменяющихся условиях. Они подвергались обобщениям, которые не могли подвергаться сомнениям и которых даже не осознавали: ориенталистский дискурс был дискурсом людей Запада, ведущих диалог с людьми Запада, и идея, что Ориент мог бы захотеть воспользоваться домодерным правовым кодексом *audiatur et altera pars* (давайте послушаем другую сторону), даже не возникала у ориенталистов. Никто не обсуждал вопросы с Ориентом, все обсуждали их в рамках своего собственного круга. Западная антропология, лингвистика и дарвиновская биология укрепляли таксономический захват Другого и делали его неспособным вырваться из клетки ориенталистских категорий. Ориенталистская интерпретация создала систему категорий, в которой оказались заключенными, представлялось, навсегда, все не-западные народы. Это была хорошо аргументированная система, и тезисы, структурировавшие ее, представлялись прак-

тически безукоризненными. Принципы мышления, основанные на Просвещении, ручались за свою надежность в течение всего обозримого будущего.

Деконструкция этой системы посредством анализа отдельных книг, а не категорий была непосильной задачей, поэтому Саид предпочел целостный подход, ориентированный скорее на всю систему, а не на ее отдельные части и элементы. Этим он начал процесс деконструкции созданного Просвещением дискурса силы, выдающего себя за объективного исследователя.

Среди наибольших достижений Саида – обращение внимания на влияние, которое интерпретаторы оказывают на объект своих интерпретаций. Хотя Саид имел дело с французскими и английскими ориенталистами, его характерно неэмоциональные (т.е. такие, которые включают только незначительную долю *рессантимента*) размышления существенны и в отношении иных подобных ситуаций. Как отмечалось ранее, на англоязычные интерпретации русской культуры влияли имперские симпатии ученых, которые русскими колониальными авантюрами восхищались так же, как ориенталисты восхищались западными завоевателями. Короче говоря, Саид расчистил дорогу, которой рано или поздно должны пройти исследователи, имеющие дело с русской историей и культурой – чем раньше, на мой взгляд, тем лучше.

Следующий шаг был сделан в «Культуре и империализме». Здесь Саид вывел постоянно повторяемое [вслед за ним] определение империализма:

«На определенном наиболее базовом уровне империализм обозначает осмысление и заселение, контроль над землей, которой вы не обладаете, отдаленной от вас, заселенной другими и принадлежащей им...

Я буду использовать термин “империализм” в значении теории и практики, и относительно доминирующего центра-метрополии, управляющего отдаленной территорией; “колониализм”, который почти всегда является следствием империализма, обозначает укоренение поселений на отдаленной территории. Как отмечает Майкл Дойль (Michael Doyle): “Империя – это отношения, формальные или неформальные, в которых одно политическое сообщество контролирует реальный политический суверенитет другого политического сообщества”»⁴¹.

«Культура и империализм» исследует английских и французских писателей и культурных деятелей, которые ни в коем случае не могут быть названы шовинистами, но именно они формировали невинный образ империльной визии. Джозеф Конрад (Joseph Conrad), автор «Лорда Джима», говорил амбивалентным языком: показывая Африку и Азию «снаружи», он дистанцировался от иерархий имперского правления. Подобно ему Джейн Остин (Jane Austen), лишь слегка касаясь реалий заморских владений, была беспощадна в моральном осуждении героев империи.

Саид отдает должное иронии и скептицизму Конрада относительно английских имперских завоеваний и вполне оценивает «моральную дискриминацию» у Остин⁴². Он отмечает, что хоть Уолтер Липпман (Walter Lippmann) и Джордж Кеннан (George Kennan) возвращали глубокое чувство американского превосходства, оба они относились с презрением к примитивному шовинизму. Тем не менее как артикуляторы имперской экспансии они выражают готовность к *навязыванию интерпретаций нациям, лишенным силы*, что характерно для имперских мыслителей⁴³. Поэтому, при всей своей амбивалентности, Конрад и Остин остаются имперскими глашатаями. Саид предлагает радикальное перепрочтение этих писателей, как и многих других.

За очень редкими исключениями, русский имперский дискурс не породил текстов настолько же самокритичных. Имперское сознание в России не было затронуто пониманием того, что *succés* (если не *noblesse*) *oblige* (успех обязывает). Ни один известный русский писатель не сомневался в необходимости или разумности использования ресурсов нации для покорения империей все больших и больших территорий или в удерживании земель, которые не являются даже славянскими. Ни один не задался вопросом о моральном аспекте колониального принуждения. Та легкость, с которой великие русские писатели в XIX в. скользили над реальностью войн российских правителей, не имеет аналогий в западноевропейских странах. Ни русские писатели, ни русские интеллектуалы никогда даже в общих чертах не описывали имперскую политику на завоеванных территориях... Идея колониальной зависимости и ее цены для завоеванных наций не проникала в русский национальный дискурс. Многие русские писатели достигли успехов в описаниях моральных дискриминаций, но они об этом свидетельствовали только с перспективы своего имперского дома, подобно британцам, которые прилагали отчаянные усилия, борясь за справедливое распределение прибыли, полученной от заморского труда рабов. В русской литературе много сочувствия к Акакиям Акакиевичам или, в последнее время, к Иванам Денисовичам и Андреям Гуськовым, но нет осознания, что эти несчастные герои все же принадлежали к привилегированному слою империи, как и несчастный мистер Микоубер к привилегированной части своего общества⁴⁴. Достоевский никогда не ощущал иронии в том, что он пишет романы о моральных дилеммах в то время, как его читатели вовлечены в насилие за границей. Русский дискурс, не склонный к осознанию своих колониальных преступлений, вряд ли будет доброжелательным по отношению к «Культуре и империализму» (трудно поверить, что он примет эту концепцию без протестов).

Есть еще одна сложность. Категория ориентализма, переформулированная и реинтерпретированная Саидом, породила разнообразные исследования, имеющие смысл только на уровне абстракции, который едва доступен тем, кто всегда хочет иметь дело с простыми концептами. Постколониальная теория привлекает многочисленные постмодерные философские и психологические источники, что во многом объясняет сопротивление этой теории со стороны всегда более традиционных

русских писателей. За исключением эпизодов формализма и структурализма (никогда полностью не интегрированного в мейнстрим критики), литературная аналитика в России редко привлекает новые идеи, предпочитая апеллировать к давно установившимся моделям⁴⁵. К тому же в России многие интеллектуалы не склонны отказываться от идеи, что тоталитарные коммунистические репрессии одинаково затронули и русских и не-русских. Хотя целый комплекс имперских проблем действительно связан с советским тоталитаризмом, в исследованиях литературы он должен быть отнесен к более широкой текстуальности, которую открыла постколониальная теория, уже по той причине, что литературные исследования имеют дело скорее с текстами, чем напрямую с миром. Отсутствие дискурса, разоблачающего посредническую роль русской литературы в защите русских имперских интересов, напоминает западный дискурс об Oriente в XIX в.

В этой связи социалистический реализм является важным явлением для понимания русской колониальной экспансии и насилия. После создания в 1932 г. Союза советских писателей социалистический реализм сделался обязательным художественным методом для двух поколений писателей России. Исключений было мало и, выявленные в малотиражном самиздате, они не могли изменить употребление языка и способы его понимания, усвоенные русской культурой... Нормы социалистического реализма, предписанные русским писателям, определили круг тем и используемый словарь. Они настолько повлияли на весь русский дискурс, что теперь он едва ли способен ассимилировать категории постколониальной критики. Несмотря на все модификации и обновления, которые происходили после смерти Сталина, социалистический реализм остался смирительной рубашкой, в которой русский язык (и, как следствие, русское мышление) был заключен тысячами писателей, ораторов и журналистов. Под их предводительством целые области человеческого опыта исчезли из языка и, следовательно, из сознания и культуры.

Словарь русских писателей и критиков, связанный с национальной лояльностью и восприятием русских не-русскими, удивительно прост, если не сказать примитивен. Любые рефлексии о подобных проблемах, как и любые эпистемологические рефлексии, вообще практически отсутствуют. Через свои песни, сценарии фильмов, романы, стихи, пьесы и статьи советские русские писатели вписывали в русский язык крайне сентиментальную визию русских, всегда лояльных к власти. За очень редкими исключениями, все русские интеллектуалы своим творчеством обеспечивали устойчивость этой упрощенной версии реальности. Политические фигуры повторяли эту версию реальности в речах и заявлениях, поднимая свой престиж и авторитет. Как результат, русский читатель сегодня рождается в лингвистической и литературной среде, наполненной мифами, восхваляющими государство, а идеи русских писателей о национальном долге по-прежнему формулируются в колониальных терминах. Русский язык сейчас находится на стадии, когда он исключает, органически отвергает концепции и идеи, несовместимые с любовью

к родине и отечеству как главной ценности (хороший русский предан стране без всяких вопросов).

«Деревенские писатели» советской и постсоветской России использовали этот лингвистический концепт, создавая героев под стать тем, что измышляли морализирующие баснописцы XVIII в., которые возвеличили магическую сущность России. В литературных дискуссиях представители русской интеллигенции все еще отстаивают идею, что Россия является страной, где свобода может быть достигнута без правовых институций, развитых на Западе⁴⁶. Русские, говорил постсоветский интеллеktуал С.С. Аверинцев, «не верят такой свободе, которая гарантирована институциями»⁴⁷; В. Ушаков уверял своих читателей, что Россия не поддается попыткам понять ее посредством рационального анализа⁴⁸. В поздние 1980-е и ранние 1990-е «Литературная газета» и «Огонек» (с другой стороны политического спектра – «Литературная Россия») печатали обширные дискуссии о русской идентичности. Появилось большое количество книг по этой проблеме. Но все это в основном выявлялось в рамках терминологии, принятой социалистическим реализмом⁴⁹.

Много было написано о непоследовательности «Ориентализма» и его неспособности придерживаться какой-либо общей методологии постколониальных исследований, не говоря уже о том, чтобы создать ее непосредственно для своих целей⁵⁰. Но здесь следует помнить, что новая область исследований всегда возникает интуитивно и обычно в своем начале слабо очерчена (методологии появляются позже). Саид не однажды говорил, что остерегается эссенциалистской точки зрения, хотя в своих аргументах иногда подходит к ней вплотную. Он относился к французским ориенталистам гораздо более благосклонно, чем к английским, и поэтому его структурирование категорий ориентализма не могло избежать эссенциализма. Возможно, это означает, что определенные формы эссенциализма вообще не могут быть преодолены даже в по-настоящему конструктивных работах.

Саид не ограничивается концентрацией внимания на отношениях силы-бессилия между национальными группами. В своем послесловии к «Ориентализму», написанном в 1994 г., он предложил выход из тупика парадигмы власти: мы все должны бороться за дистанцирование себя от тех интересов, которые поддерживают империализм, и структурировать свои реакции относительно других таким образом, чтобы элементы расы, нации и социального положения не играли существенной роли, тогда как между культурами было бы свободное взаимовлияние через гибридное пространство, обеспеченное в постиндустриальном мире мигрантами-интеллектуалами. Возможно, это утопия, но тем не менее она заслуживает обсуждения. По наблюдениям Маргарет Кэнован (Margaret Canovan), западные демократии в границах своих стран исповедуют недискриминирующие законы, но вместе с тем они закрывают эти границы для иммигрантов из третьего мира. Таким образом, законы, которые не дискриминируют по этническим и расовым отличиям, базируются на дискриминации по этническим и расовым отличиям⁵¹. В рамках западных демократий недискриминация, безусловно, надежно зафиксирована в законах, но

на практике их выполнение все еще требует личных усилий. Стоит отметить, что в «Культуре и империализме» Саид использует средневековую христианскую методологию борьбы за справедливость, таким образом, снова приближаясь к эссенциализму, от которого он отказывается в иных местах. Саид цитирует монаха XII в., который советует тем, кто ищет совершенства, преодолеть самовлюбленность, которая проявляет себя как любовь к родной земле. Тот, кто любит своего соседа, находится на пути к совершенству, наставляет монах, но тот, для кого вся земля является родной и каждый человек предстает соседом, – действительно совершенен. Саид отказывается от точки зрения Просвещения, которая когда-то и породила ориентализм, ему более созвучна прежняя, докартезианская рациональность, которая как скрытая тенденция прошла через западную историю до постмодерных времен.

Книга «Культура и империализм» написана провокационным стилем и, возможно, поэтому ее вклад в теорию постколониализма считается меньшим, чем «Ориентализма». Здесь Саид выводит обсуждаемые вопросы за границы литературы – к «Аиде» Джузеппе Верди, к работам американских критиков о меньшинствах и т.д. Всюду он обнаруживает скрытые уровни колониальных захватов и патерналистской надменности. Его попытки изменить фундаментальную ориентацию американской литературной критики (по сути, американского взгляда на Иного) охватывают пространства огромных масштабов. Многие критические категории, являющиеся сегодня стандартами в постколониальном дискурсе, впервые сформулированы Саидом.

Постколониальных авторов, следующих за «Ориентализмом», можно разделить на тех, кто учитывает фактор национальной принадлежности (nationhood), и тех, кто его не учитывает. Но имперские мифы и символы, как и агрессивные войны, которые вели к колониальным завоеваниям, упоминаются в постколониальных текстах всегда, поскольку дают возможность провести ясное отличие между «нами» и «ими» (между колонизатором и колонизированным). А вот национальная проблематика не слишком заметна, возможно, потому, что она не актуальна как в Западной Европе, так и в Индии или Пакистане (большинство постколониальных теоретиков и критиков пришли из этих двух регионов). Постколониальных авторов, скорее, интересуют расовые, а не национальные проблемы: вид расизма а rebours. В этом отношении исследования русского колониализма отличаются, поскольку в формировании русского имперского менталитета основную роль играет нация, а не раса. В процессе экспансии русские чаще сталкивались со сплоченными нациями, чем с племенными организациями, а поэтому антиколониальная борьба в русской империи преимущественно принимала формы национальной борьбы. Основанные на марксизме антиколониальные движения в Азии и Африке не имели четкой национальной оформленности, потому что национальная принадлежность не являлась категорией, которой марксизм уделял большое внимание, и еще потому, что в советское время российское государство деньгами и оружием поддерживало именно марксистских антиколониалистов. Поэтому марксистские антиколониали-

сты могли легко игнорировать тот факт, что Россия как нация была глубоко втянута в деятельность, которую на словах осуждала там, где не было ее влияния.

То, что основной вклад в постколониальную теорию (какой она присутствует в американских и британских университетах) внесли азиаты, африканцы и западные индусы или, как в случае с Саидом, арабы, в определенной мере свидетельствует о восстановлении исторической справедливости. Нужно отдать должное центру, его талерантное принятие критики относительно себя указывает на устойчивость интеллектуальной парадигмы, порожденной европейской культурой. Позволение Гаятри Спивак (Gayatri Spivak) или Хоми Бхабха (Homi Bhabha) формировать западную академическую реакцию на западный империализм равнозначно приглашению, скажем, поляка или литовца читать лекции о русском империализме студентам в русских университетах. Невероятность подобного предположения свидетельствует о разнице между относительной открытостью западного дискурса и дискурсом Российской Федерации, который продолжает действовать в рамках подавления и навязывания себя Другому. Это также наводит на мысль о существовании в русской культуре еще неких невыявленных факторов, которые предохраняют ее от вовлечения в контрапункты подобного рода. Отказ русских интеллектуалов от обсуждения вопросов колониализма свидетельствует об отсутствии в русской традиции способности к терпимости и инновационному мышлению. В русских литературных журналах постоянно ведутся посткоммунистические дебаты о русской истории, но они носят характер уже давно наскучившего противостояния западников и славянофилов, а не оппозиции русских с Другим⁵².

Еще одним основанием движения к исторической справедливости является концептуальный аппарат, созданный постколониальным дискурсом. Разнообразный культурный фон, по-разному влиявший на формирование постколониальных критиков, сделал возможным создание академических текстов, которые далеко выходят за рамки нормативного английского языка. Они расширили границы английского, иногда через насилие над ним, заставили принять концепты, чуждые его фундаментальным структурам. Этот процесс был инициирован Жаком Деррида (Jacques Derrida); сознательно стремясь разрушить западную онтологию, он прибегал к таким стратегиям, как игнорирование привычных значений слов, которые были «недействительными». Постколониальные критики подобным образом изменяют семантику слов, фраз и даже синтаксис, а также активно пользуются неологизмами и каламбурами, которые стали отличительной чертой постмодерной критики. Необычные и неожиданные сочетания слов сегодня приемлемы в заголовках работ и лекциях как вызов канонам прошлого. Похоже, критики наслаждаются игрой словами, используя их в необычных контекстах. Вспомним эссе Хоми Бхабха «DissemiNation», феминистское/постколониальное употребление существительного «world» в качестве глагола, «worlding the third-world woman»⁵³ или такое название книги, как «Re-Siting Queen's English»⁵⁴.

Подобные стратегии выбираются сознательно, более того, постколониальные критики даже теоретизируют их. Автор «Империя пишет ответ» («The Empire Writes Back», 1989) называет две основополагающие стратегии, важные для адаптации английского языка к опыту и способу мышления постколониальных критиков, пришедших из разных культурных традиций: первая – отказ, вторая – присвоение. Отказ описывается как «отбрасывание категорий имперской культуры, ее эстетики, иллюзорного стандарта нормативного или “корректного” употребления в традиционном значении, “вписанном” в слова»⁵⁵. В границах бывшей Британской империи этот постколониальный язык называется английским с малой буквы (english), в отличие от нормативного английского (queen’s English), которым пользуются бывшие колонизаторы. В результате мы имеем синкретичное использование языка с накладыванием синтаксических и грамматических правил одного языка (или нескольких) на другой. Некоторые критики полагают, что синкретический английский язык («english») появился благодаря склонности незападных авторов к метонимии, а не к метафоре, которая до этого являлась наиболее типичным тропом. «Тому, кто тропы текста прочитывает как метонимии, легче приспособиться к социальным, культурным и политическим силам, которые стоят за текстом»⁵⁶, – утверждает Билл Эшкрофт (Bill Ashcroft). Более того, переплетение языков, которое произошло в «english», само по себе метонимично: в терминах Деррида, это отличие (différence) между двумя культурными пространствами.

Пренебрегая обычным для западной традиции разделением дискурсов, постколониальные критики свободно используют поэтические техники в аргументировании философских взглядов и шокируют откровенно сексуальным языком. Постколониальные романисты делают то же самое⁵⁷. Они утверждают, что для подобных практик существуют весомые причины. Слишком часто колонизатор видит колонизированного женоподобным и подчиненные мужчины молчаливо соглашались на этот образ женоподобности, приписанный им. В ориенталистских текстах сексуальная и политическая доминации были взаимосвязаны⁵⁸. Это один из пунктов соприкосновения феминистской и постколониальной критики: ярлыки фемининности в колониальном дискурсе были деконструированы феминистскими и гендерными исследованиями, которые наглядно продемонстрировали самонадеянность и излишне высокое самомнение колониалистов.

Теоретики, особенно Хоми Бхабха, похоже, получают удовольствие, показывая свою власть над языком колонизаторов, которая является отражением прежней власти англичан над Пакистаном. В работах Бхабха практически нет ординарных изречений. Их наличие – это болезненное (для некоторых) напоминание, что при всем богатстве возможностей выражения мысли стандартный английский язык с трудом приспосабливается к структурам, заимствованным из других языков и цивилизаций; поэтому носители английского языка оказываются в дискомфортной ситуации, когда им демонстрируют, что язык империи значительно больше, чем их представление о нем. Дело в том, что английский язык структурировал опыт жизни

таким образом, что за его границами оказались многие существенные моменты этого опыта. Бхабха определяет текстуальность (textuality) (одно из ключевых слов в постколониальном дискурсе) следующим образом: «текстуальность является продуктивной матрицей, которая определяет “социальное” и делает его пригодным для действия... Она не просто идеологическое выражение второго порядка или вербальный признак заданной ранее политической темы...»⁵⁹. Это напоминает о том, что таксономия Просвещения, которая когда-то считалась универсальной, ни в коем случае не является таковой. Обучение центра на его же территории, то есть в языке, возможно, является знаком новой гибридной культуры, которую Саид представлял себе как желаемое постколониальное будущее. Кстати, носители английского языка сегодня идут тем же путем: их тексты стремятся освоить ранее исключенные области, которые открыли постколониальные критики и писатели.

С другой стороны, большинство постколониалистов, особенно выходцев из Азии, хорошо представляют значение западных культурных институций и теоретических практик, и они понимают, что эти институции и практики не могут быть отменены или игнорированы. Поэтому Гаятри Спивак разработала стратегию взаимодействия с западными лингвистическими и философскими конструктами. Она хорошо умеет комбинировать различные эпистемологические системы и не боится изменять свою точку зрения. Великолепное владение английским языком (сочетающееся с поразительной откровенностью) позволило ей констатировать, что постколониальный дискурс является «постоянной критикой того, чего вы не можете не хотеть»⁶⁰. Она права в предположении, что постколониализм основан на ресантименте (чувстве обиды), но ресантимент не единственный и даже не определяющий его источник. Изъяны эпохи Просвещения, выявленные постколониальной критикой, – реальны, серьезны и достойны внимания. Постколониализм, таким образом, подпитывает более широкий дискурс критики Просвещения, который характеризует интеллектуальную жизнь конца XX в.

Лейла Ганди (Leela Gandhi) начало постколониальной теории связывает с романтизмом и новым критицизмом. По ее словам, концентрация представителей нового критицизма на текстах, герметично закрытых от «реальной жизни», возникает с появлением постколониальных идей и принимает формы повышенного внимания к тексту. Подобно этому романтический отказ от участия в уродливом мире индустриализации выявился в побеге постструктуралистских критиков в текстуальность⁶¹. Текст становится местом, где могут найти приют ценности, реально исчезнувшие из общества. Но здесь следует отметить, что традиция строгого разграничения сфер опыта также является изобретением Просвещения.

Однако все эти изменения в языке и мышлении касаются лишь Запада и его колоний. Территории, контролируемые русскими, до сих пор не создали постколониальной критики, которая в полный голос могла бы ответить на вызовы империи (может быть, для этого пока просто нет подходящих политических условий?). Будет ли постколониальный дискурс Российской Федерации развиваться в обозримом

будущем, зависит от готовности бывших или теперешних колоний заявить о своем «желании отличаться» таким образом, чтобы это не повторяло старые приемы антиколониального сопротивления. Милитаристической культуре русских лучше всего противостоять не силой оружия, но дискурсивным отказом быть вписанными в зыбучие пески мифологии «*родина-отечество*».

В этой связи следует отметить, что на Западе определенная часть постколониальных критиков сопротивляется идее расширения концепта колониальности на территории, которые не являлись его доминионами. Существует сопротивление и определению как колониальных территорий поселенческих культур, таких как Австралия и Северная Америка⁶². Тем не менее, как отметила Хелен Тиффин (Helen Tiffin), идентичности этих поселенческих сообществ «частично были сформированы реальностью европейского колониализма»⁶³. Отказ некоторых постколониальных критиков рассматривать Австралию как составную часть колониального опыта исходит из общего представления, распространенного среди не-белого населения, о привилегированной позиции белых, чье перемещение (важное для колониального опыта) было в определенной степени добровольным и, таким образом, не шло в сравнение с принуждением черных рабов или индийцев изменять место обитания и образ жизни. К тому же и военные, втянутые в завоевание колоний, относились к белым переселенцам совершенно иным образом, чем к коренным жителям. Безусловно, можно и нужно спорить о существовании множества образцов и степеней колониальной зависимости (все они нуждаются в пристальном рассмотрении). Многие из белых переселенцев были отбывающими наказание преступниками, приговоренными к высылке. Майкл Гехтер (Michael Hechter) в работе «Внутренний колониализм» («Internal Colonialism») убедительно доказывает, что английский колониализм охватывал не только заморские территории, но и шотландцев, уэльсцев и ирландцев. Некоторыми критиками отмечалось, что даже такое государство, как Квебек (да и вся Канада), также может быть рассмотрено как постколониальное с одной перспективы и неоколониальное с другой. Белые на канадских территориях оставались свободным, а вот индейские народы были колонизированы⁶⁴.

Отрицание белыми австралийцами или не-английскими обитателями Британских островов своего колониального прошлого может помочь объяснить, почему колониализм русских в Восточной и Центральной Европе и Азии игнорировался в дебатах на эти темы. Колонизация белых белыми, которая там имела место, не вписывалась в колониальную теорию, как она трактовалась не-белыми теоретиками, такими как Бхабха или Спивак. Австралийцы и североамериканцы, перемещавшиеся отчасти добровольно как должностные лица империи, заключенные или свободные поселенцы, вытесняли местное население с их территорий. Но десятки миллионов белых не-русских, покоренных русскими войсками, разделяют с народами Азии и Африки насилие и притеснения, которые являются характеристиками классического колониализма. Руководящие посты в русской империи и, позже, в границах

советской зоны влияния, были для них недоступны до тех пор, пока они не переставали представлять свои нации и не начинали действовать в интересах Москвы⁶⁵.

Парадоксально, но белые европейцы, подчиненные колониальному правлению России или Германии (или имперской Турции, несколькими столетиями ранее), последними приходят к осознанию, что они фактически были колониальными подданными. Они преимущественно все еще оценивают русских, турецких или немецких оккупантов как тех, кто выиграла войну, а не как тех, кто втянул их в длительный колониальный проект. Наверное, поэтому они еще не рассказали свою историю миру, даже несмотря на то что их культуры уже сформулировали дискурсы в соответствии с западными эпистемологиями. Но их молчание уже имеет негативные последствия. Колониальный проект, субъектами которого они были, полностью выпадает из поля зрения постколониальных комментаторов, таких как Лейла Ганди, которая выступает против включения в этот дискурс даже поселенческих культур, не говоря уже о признании колонизации белых белыми в современных европейских империях. Также игнорируется русская колонизация Кавказа, регионов Черного моря и Центральной Азии. Как отмечалось ранее, двойственная роль деятельности Советского союза в сражениях за западные колонии и способность царской России исключать себя из колониального дискурса скрыли понимание того, что колониализм не ограничивался западными экспансиями в Азии и Африке, но также охватывал и Европу.

Авторы, чья глубокая аналитика западного империализма помогла смягчить или даже частично трансформировать его, сформулировали модель *колониальной зависимости*⁶⁶. В соответствии с этой моделью экономическая эксплуатация периферии не ограничивалась прямым перемещением капитала, но также проявилась в притеснениях, которым подвергались колонии и доминионы в земледелии, промышленности, культуре, демографии и традиции потребления. Создание подобной колониальной зависимости было основной чертой и русского империализма (помимо идеологических манипуляций советского периода). Превращение московской номенклатурой советской республики Узбекистан в производителя сырья для русских текстильных фабрик и связанная с этим ликвидация земледельческих традиций узбеков, загрязнение земель химикатами и инсектицидами и превращение Аральского моря в соленую пустыню являются хрестоматийными примерами подобной зависимости. После подавления восстания Курбаши в 1922 г. началось масштабное переустройство богатого земледелием Узбекистана в огромный колхоз по выращиванию хлопка. В лучших колониальных традициях это начинание было поддержано местными коммунистами, что дало метрополии возможность избежать ответственности за содеянное. Фруктовые сады Узбекистана были вырублены под хлопковые поля, которые орошались всеми водными ресурсами региона. Богатый хлопковый урожай сделал возможным строительство гигантских текстильных фабрик уже собственно в России (например, в Иваново), предложить работу десяткам тысяч русских и обеспечить тканью Красную Армию. Только от 2 до 8% хлопка ис-

пользовалось в самом Узбекистане. Но вывоз хлопка на русские фабрики составил лишь часть той страшной цены, которую Узбекистан заплатил за эту инициативу метрополии. Более ощутимыми были насильственное перемещение населения, потеря традиционного земледелия, беспрецедентное загрязнение почвы и воздуха, проблемы со здоровьем, которые узбеки в полной мере ощутят в будущем. Неумеренное использование пестицидов и искусственных удобрений превратило оазисы Узбекистана в загрязненные неплодородные земли, которые сделались непригодными для земледелия. Когда катастрофа выявилась в такой степени, что дальше ее невозможно было скрывать, из Москвы в Узбекистан была отправлена специальная группа для расследования фактов и журналисты начали освещать подробности случившегося. Но имперские способы подчинения и истощения доминионов остались вне их репортажей. Русский дискурс продолжал сопротивляться терминологии, вскрывающей его колониальную сущность. В катастрофе были обвинены неэффективное советское управление и коммунистическая система⁶⁷.

Саморепрезентация России

Тот факт, что Россия смогла избежать терминологического присвоения Западом, позволил ей самой оказывать влияние на Запад не только посредством военной силы, но также через литературу и искусство. Это, конечно, не значит, что какая-то абстрактная страна, называемая Россией, сознательно работала над созданием своего образа для иностранцев или что Россия развивалась в культурной изоляции от Запада, а затем атаковала его своим уникальным дискурсом. Начиная с эпохи романтизма европейские культурные тенденции активно проникали в русскую культуру и тем самым увеличивали привлекательность России для европейского потребителя. Вместе с тем заметим, что поскольку западная интеллектуальная генеалогия кардинально отличалась от русской, то освоение западных тенденций в России давало совсем иные результаты. Траектория западной философии никогда не повторялась в России и не усваивалась русскими элитами. Формально Гегель оказал ощутимое влияние на Россию, но на самом деле русским элитам не хватало интеллектуальной базы к восприятию его философии. Два тысячелетия философствования, включая средневековую схоластику, уже лежали в основе западной идентичности к тому времени, когда Гегель появился на сцене – россияне ничего подобного в своем опыте не имели. Основные положения рационалистической логики, от Аристотеля до Декарта, не проникли в русскую культуру в такой степени, как в культурах западных стран⁶⁸. В частности, о чем я говорила в прошлой книге, русский дискурс слабо усвоил принципы идентичности и не-противоречия. Вместо этого русские элиты использовали духовные ресурсы восточного христианства, шаманизма и врожденной интуиции, которая предпочитала мыслить в парадоксах и поэтому увлеклась подобными формулировками Гегеля⁶⁹. Эта эпистемологическая база и легла в основу образа России, в котором сочетаются ранимость и сила, вар-

варство и цивилизованность, непорочность и жестокость⁷⁰. Поэтому русский дискурс преимущественно позиционировал себя в пределах культурного пространства, определенного границами концептов жертвенности, креативности, патриотического посвящения и монархической славы. Вот он образ России, зафиксированный в памяти Запада: чрезвычайно творческая, величественная и географически бескрайняя страна, окруженная врагами, но обладающая поразительной культурной энергией и выдающейся любовью к отечеству.

Огромные культурные усилия, сделанные Россией со времен Екатерины Великой (которая расширила границы империи на запад настолько, что это превратило ее в одного из главных игроков на европейской арене), отразились в русской литературе таким же образом, как имперские достижения Великобритании в английской литературе. Экономическая мощь России, все увеличивающаяся после очередной аннексии соседа, дала Екатерине Великой возможность предпринять изменения русской культуры с намерением поставить ее в один ряд с культурами Европы⁷¹. Она ликвидировала греко-католическую церковь в Украине и Беларуси и отдала русской православной церкви собственность украинских и белорусских католиков. Позже была конфискована личная собственность и собственность институций, подозреваемых в причастности к восстаниям в западных провинциях империи. После восстания 1863 г. все римо-католические монастыри в Украине и Беларуси были ликвидированы, а большинство католических церквей конфисковано. Десятки тысяч людей оказались в тюрьмах, непоправимо разрушилась общественная и культурная жизнь, разорялись тысячи семей только появляющегося среднего класса – и лишь коренные русские наживались на мародерстве. Новейшие архивные публикации в деталях показывают преследования католиков в западных регионах русской империи; в книгах перечисляются тысячи архивных документов, свидетельствующих о притеснениях и экспроприациях католических приходов и монастырей⁷². Как заметил Хью Ситон-Вотсон (Hugh Seton Watson), поражение поляков «подняло престиж русских в Европе»⁷³.

Но русские и иностранные читатели узнавали об этих и связанных с ними событиях лишь из косвенных упоминаний в русской литературе. Федор Достоевский высмеивал поляков в «Братьях Карамазовых», утверждая, что после восстания 1863 г. они поехали в Сибирь добровольно, как оплачиваемые служащие империи, а не как политические заключенные и ссыльные. Другие писатели были так же неточны. В «Отцах и детях» Ивана Тургенева (1862) есть сцена, когда Павел Петрович Кирсанов входит в комнату, в которой встречает Феничку, возлюбленную его брата. Нарратор отмечает, что «вдоль стен стояли стулья с спинками в виде лир; они были куплены еще покойником генералом в Польше, во время похода»⁷⁴. Покойный генерал вместе с братом Базарова принимали участие в подавлении польского восстания в 1830 г., и русская армия там не покупала вещи, а грабила. Из другого места романа мы узнаем, что брат Базарова был без гроша, когда присоединился к армии как военный доктор, но по возвращении он уже имел небольшое состояние. Английский

перевод романа затемняет этот вопрос и не комментирует происхождения предметов, появившихся после военных кампаний России⁷⁵. Это классическая колониальная ситуация, когда империя навязывает свой дискурс проигравшим народам и вытесняет их видение истории даже из памяти.

Рассмотрим коротко обстоятельства, которые дали возможность генералу Кирсанову и доктору Базарову обогатиться в Польше. 31 октября 1831 г., после подавления польского восстания, царь Николай I издал «указ об однопольщиках и гражданах губерний западных». Тогда как крупные магнаты сохраняли свои земли и крепостных, мелкая шляхта лишалась своих дворов и хозяйств, становясь безземельными бедняками⁷⁶. Поэтому много стульев «с спинками в виде лир» в то время перешло в другие руки, но, естественно, не на условиях свободной торговли. Описание этих событий в произведениях колонизированных по тональности схоже с подобными описаниями в книге Франца Фанона «Изгой Земли» (Frantz Fanon «The Wretched of the Earth»)⁷⁷. То, что это осталось незамеченным западной постколониальной критикой, свидетельствует о способности России все еще контролировать западный дискурс. Снова обратимся к Джорджу Кенану (George Kennan): «Выделяются два периода русской экспансии в Западной Европе. Один начинается с времен Екатерины Великой и длится до Первой мировой войны. Это было время династических соглашений, которые не слишком влияли на жизнь простых граждан в этих странах. Вопрос заключался лишь в смене правителя»⁷⁸. То, что дипломат уровня Кенана мог публично высказывать такие эксцентричные мнения, показывает, насколько идеологизировано было понимание России и как авторитетные игроки игнорировали очевидные факты, которые в множестве присутствовали как в западных, так и в русских источниках. Кенана можно сравнить с британским ориенталистом XIX в. лордом Эвелином Барингом Кромером (Evelyn Baring Cromer), для которого обитатели Оrients были объектом управления, а не субъектами, обладающими собственными легитимными намерениями и устремлениями.

Русское колониальное присутствие на территориях с не-белыми жителями вызвало и искаженную литературную трактовку «аборигенов». Сабиржан Бадретдинов обратил внимание, что следы этнических стереотипов пронизывают всю русскую литературу⁷⁹. Кавказские автохтоны у Пушкина и Лермонтова – или безмолвны, или преступны; и никакая самоирония не смягчает этого отношения, как в случае с творчеством Джозефа Конрада. Воинственная враждебность со временем мало-помалу ослабляется, что подтверждается великодушным и снисходительным изображением Достоевским давно побежденных мусульман в «Записках из Мертвого дома» (1861). Простодушное включение Толстым немцев и поляков в число русских является примером готовности поглотить белые национальности империи, хотя большинство этих национальностей не желали подобного поглощения. Солженицын мурлычет от удовольствия, объявляя в «Раковом корпусе» доктора Гангарт русской немецкого происхождения⁸⁰. Но в этой повести нет и следа понимания того, что азиатские автохтоны могут иметь проблемы, которые находятся вне досягаемости сознания

русских – что их основной проблемой могут быть сами русские. Как раз об этом работа Е.М. Форстера «Путешествие в Индию» (E.M. Forster «The Passage to India»). То, как не-белые автохтоны репрезентируются в постсоветских русских медиах и публичном дискурсе, – огромная и фактически не исследованная проблема, хотя множество конфликтных материалов подобного рода ежедневно преподносится новостными агентствами «Reuters» и «Associated Press»⁸¹.

Когда самоуверенный голос России в XIX в. стал все более громко звучать за границей, именно ее великие романисты продуцировали доказательства того, что империя – это Россия и что судьба всех народов в границах империи – быть частью России. Посредством литературы огромное количество не-русских территорий было риторически присвоено Россией, и тогда окончательно сформировалась традиция, которая трактовала окраины империи как изначально русские. В России и за ее рубежами активно утверждалась идея, что Россия – это страна без природных границ и она продвигалась вперед только для того, чтобы защитить себя, и что ее мирная экспансия всегда имела лишь цивилизирующее влияние. От «Кавказского пленника» Александра Пушкина (1822) и «Севастопольских рассказов» Льва Толстого (1855–1856) до «Далеко от Москвы» Василия Ажаева (1948) и «Утоления жажды» Юрия Трифонова (1963) русская культура рассказывала русскому народу и западным элитам, что территории от Бреста до Владивостока и от Карелии до Чечни по полному праву управлялись Москвой. Русифицированные местные элиты, русские колониальные поселенцы, советские спортивные команды и военные хоры демонстрировали заграничным аудиториям гомогенизированную русскую нацию.

Но неуверенность империи и ее сомнения в справедливости своего колониального проекта выразительно проступают уже в первой строфе гимна несуществующего сегодня Советского Союза:

*Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!*

К тому же в этом тексте классически представлено «изобретение традиции», изложенное Дэвидом Кеннедайном (David Cannadine) и другими исследователями Западной Европы. Определение *великая* относится именно к *Руси*, а не к другим этническим группам. Этим предполагается, что величие *Руси*, кроме всего прочего, состоит в том, что именно она объединила разбросанные по отдельности нации, которые полностью удовлетворены своей принадлежностью к СССР. Удивительно: *Русь* восхваляется за ее агрессию против своих соседей. Более того, гимн несправедливо утверждает, что соседи удовлетворены своей второстепенной ролью в союзе. Как объяснялось ранее, термин *Русь* имеет много значений, и он может означать как Россию, так и всех восточных славян. Правда, гимн позволяет украинцам и

белорусам поучаствовать в русском величии, но только в качестве миноритарной части *Руси*. Он подчеркивает окончательность союза и, имплицитно, вечное величие России. *The lady doth protest too much* (Дама протестует слишком сильно). Колониальная педагогика текста идет рука об руку с завершенностью политической формации, которую он поддерживает. Гимн был принят в 1944 г., когда Советский Союз одержал победу над нацистской Германией и оккупировал большинство стран в Центральной и Восточной Европе. СССР распался в 1991 г., но педагогикой гимна оперируют до сих пор. Питер Форд (Peter Ford) высказал мнение, что «одинаково как для либералов, так и консерваторов будущее России представляет большую важность, чем будущее тех стран, которые окружают ее и которые когда-то составляли русскую империю, а затем Советский Союз»⁸².

Ури Раанан (Uri Ra'anán) заметил, что русская национальная идентичность была привязана к империи точно так же, как английская и французская идентичности к своим маячащим империям⁸³. Когда Евгений Примаков, тогдашний премьер-министр, 15 января 1999 г. сказал в своей речи, обращенной к сибирским губернаторам: «мы [русские] потеряли Советский Союз», он лаконично выразил одну из главных *idées reçues* русской истории⁸⁴. Эта зависимость от империи помогла установить в русской литературе иерархию ценностей и сделала возможным использование политической силы империи как плацдарма для привлечения к русской литературе мирового внимания. После Толстого и Достоевского бесчисленные миноритарные писатели и ученые укрепляли центральные положения русского культурного проекта, акцентируя внимание на защите страны, а не на агрессии, подчеркивая уникальную глубину русского человека, его способность переносить удары судьбы, суровый климат и враждебность Другого.

Деколонизация и осознание темной стороны империализма снизили стремление к империальному самоутверждению на Западе, но не в России. Русские до сих пор любят исторические рассуждения, в которых Россия является основой мира⁸⁵. Дискурс силы в России и сегодня неоднократно взывает: «Россия прежде всего». Политолог Владимир Пастухов доказал, что развитие русской империи всегда происходило скорее революционно, чем эволюционно, и что процветание обычно начиналось после глубокого кризиса. 1990-е являются частью этого цикла. Россия останется империей, хотя, возможно, в измененном виде, говорит Пастухов⁸⁶. В «Огоньке» летом 1998 г. появился материал о похоронах (запоздалых) царя Николая II. Журналист Аркадий Соснов уверял своих читателей, что похороны были «событием номер один во всем крещеном мире»⁸⁷. Автор горевал из-за того, что сами русские уделили недостаточно внимания событию, которое заинтересовало все остальное человечество (что является совершенной фантазией). В отличие от выверенных заявлений официальных лиц статья в «Огоньке» представляет частное мнение, но поэтому ее можно соотносить с характером мышления, привычным для среднего читателя. Именно в границах подобного способа мышления, который оголяется в названной статье, писалась и интерпретировалась вся русская литература.

Обратим внимание на телевизионное обращение президента Ельцина 31 августа 1995 г., сделанное по случаю нового учебного года. Оно следующим образом призывает к почитанию тех, кто погиб во времена сталинизма: «Давайте не будем забывать, что коммунистическая партия сделала России, как много погибло *офицеров* [курсив автора], ученых, интеллигентов и крестьян»⁸⁸. Размещение в начале «офицеров» в перечислении достойных скорби говорит о таксономии, которая демонстрирует особое русское отношение к военным как к приоритетной части общества. Это наводит на мысль, что Российская Федерация продолжает быть армией со страной, а не страной с армией. Непреднамеренно Ельцин осветил здесь роль, которую военные силы сыграли в конструировании как русской идентичности, так и идентичности Другого. Вместе с тем проблема присутствия военных в русской литературе всегда игнорировалась русским литературоведением. Но если убрать героев с военными титулами из пьес Чехова или произведений Достоевского и Толстого, то они перестанут быть таковыми.

Почти два века тому назад русский писатель Н.И. Греч писал: «Можно с уверенностью утверждать, что наш язык превосходит все современные европейские языки»⁸⁹. В статье, опубликованной в 1945 г., покойный уже Дмитрий Лихачев призвал к созданию библиотеки исследований, подтверждающих блистательное начало русского государства⁹⁰. Сам он посвятил большую часть своей профессиональной деятельности именно этой задаче (опираясь на советские имперские деньги). В конце XX в. Дмитрий Лихачев мог похвалиться достижением своей цели. Теперь там существует целая библиотека из работ, доказывающих, что Древняя *Россия*, которая стала Московским государством, обладала богатой культурой и была большой и объединенной страной. Труды, написанные Лихачевым и его последователями, сводят к нулю попытки меньшинств обозначить свои собственные истории на территориях, называемых сегодня Российской Федерацией. Подобно западному ориентализму, проект Лихачева создал авторитетный корпус академических книг и статей, «вписывающих» в русскую и западную память величие России. Подобное сделать под силу только империям.

Современные западные ученые утратили понимание причинно-следственной связи царизма-советов-колониализма. В значительной степени это связано с теми, кто видел в советской России тип политической структуры будущего – теми, кто, как Жюль Ромен (Jules Romains), надеялся на *cette grande lueur a l'Est*. Ученые и политики, которые деконструировали западный колониализм, часто симпатизировали политической системе советской России⁹¹. Они полагали, что прошлое царской России – это феодализм, деспотизм и капитализм, но не колониализм, о чем говорило отсутствие заморских колоний. Финансовый, военный и дипломатический вклад, который Советский Союз внес в «антиимпериальное» дело стран третьего мира, затмил тот факт, что Россия была вовлечена в практики, которые сама так основательно осуждала вне сферы своего влияния. Валерия Новодворская оценила это следующим образом: «Когда советские диссиденты из метрополии победили

коммунизм (или, возможно, только отодвинули его в сторону)... они решили большинство своих проблем. За редкими исключениями, они считали сумасшествием, если диссиденты колоний России начинали решать свои собственные отдельные проблемы»⁹².

Но, возможно, эта ситуация сложилась из снисходительного отношения к русскому колониализму, наличие которого западные ученые не пожелали видеть не только в литературе, но и в политике. Россию, с ее слабо развитой потребительской экономикой и амбивалентным статусом великой страны на окраинах Европы, легко было посчитать неспособной к дисциплинирующим усилиям, необходимым для того, чтобы объединить военный и культурный потенциал в борьбе за контроль над другими народами мира. Возможно, антиимперские авторы Запада не принимали во внимание Россию как одного из основных игроков в колониальной игре, поскольку полагали, что славянские страны не склонны к колониальной гонке. Россия казалась настолько далекой от империй, вовлеченных в борьбу за колонии, что ее тексты не становились предметом рассмотрения посредством той методологии, которая деконструировала великие западные тексты. Было гораздо легче поверить, как это, кажется, сделал Хобсбаун, что современная Россия стала такой потому, что ее составляющие сами хотели стать частью «святой русской земли»⁹³. Если бы Россия рассматривалась колониальными критиками вместе с Великобританией, то не было бы иллюзий о том, что только западная цивилизация способна породить колониальный дискурс и стремление к собственной текстуальной визии мира Другого. Русская колониальная политика была недооценена Западом и показала его слепоту в отношении колониальных структур и методов завоеваний, которые не были созданы им самим⁹⁴.

В 1945–1989 гг. западные формулировки русских реалий были близки к риторике социалистических утопий. Русские интеллектуалы – такие, какими они были под коммунизмом, – поддерживали подобные заблуждения, поскольку это возвышало их статус и внутри страны, и за ее пределами. Правда, поразительное несоответствие между западными интеллектуальными категориями и русскими реалиями часто отмечалось, но редко основательно исследовалось⁹⁵.

Период после Второй мировой войны привел к закату западных империй, но потребовалось еще пятьдесят лет, чтобы дестабилизировать империю русских. Она существовала фактически непоколебленной до «Солидарности» в Польше, первой заговорившей об экономической и националистической неэффективности советской системы. В 1990-е гг. коммунистическая империя потерпела крах, но не исчезла полностью⁹⁶. В постсоветский период, когда республики Советского Союза вырвались из Российской Федерации, процесс частичной деколонизации в целом воспринимался как декоммунизация, что позволило метрополии снова выпасть из поля зрения западных постколониальных критиков. Российская Федерация, все еще центрированная Москвой, остается как имперское целое, и русские тексты продолжают убеждать своих и иностранных читателей, что в стране ничего не изменилось.

Но так же как белые колонии Англии в конце концов провозгласили свою независимость, так автономные республики и регионы Российской Федерации начнут требовать себе все больше независимости⁹⁷.

После назначения в сентябре 1998 г. Евгения Примакова премьер-министром один из комментаторов заметил: «Является ли Примаков тем, кто мог бы управлять Россией, это один вопрос. Управляема ли Россия в принципе – вопрос второй. Неспособность Москвы совладать с углубляющимся экономическим кризисом усугубила сепаратистские тенденции в провинциях, усилила опасения, что Россия... может пойти путем Советского Союза, которым тот пошел в 1991»⁹⁸. Комментируя предложение Примакова, что Москве стоило бы создать новую международную коалицию против принципов национального самоопределения, другой комментатор утверждал: «...с осознанием величины сложностей, с которыми сейчас сталкивается Россия, Примаков присоединяется к возрастающему числу русских политиков, которые говорят о том, что будущее их страны в ее теперешних границах может быть сомнительным»⁹⁹. Империя, объединенная военной силой, находится под риском окончательного распада.

Перевод с английского Татьяны Нядбай

Примечания

- ¹ Keenan, K. On Certain Mythical Belief and Russian Behaviors / K. Keenan; edited by S. Frederick Starr // *The Legacy of History in Russia and the New States of Eurasia*. Vol. 1. NY, 1994. P. 19–40.
- ² Словарь русского языка. М., 1957–1961.
- ³ Бунин, И.А. Собрание сочинений / И.А. Бунин. М., 1966. Т. 2. С. 364.
- ⁴ *New York Times*. 14 December 1991.
- ⁵ Kundera, M. A Conversation with Philip Roth / M. Kundera; translated by Peter Kussi, M. Heim // *The Book of Laughter and Forgetting*. New York, 1980; Kross, J. *The Czar's Madman* / J. Kross; translated by Anselm Hollo. New York, 1993.
- ⁶ Haxthausen, A. von. *Studies on the Interior of Russia (1847–52)* / A. von Haxthausen; edited by S. Frederik Starr, translated by Eleanore L.M. Schmidt. Chicago, 1972. P. 310.
- ⁷ «От Польши осталась самая малость... / Они не любили повадок наших, / Вельможный кривили рот».
- ⁸ Gandhi, L. *Postcolonial Theory* / L. Gandhi. New York, 1998. P. 134.
- ⁹ В августе 1995 г. в «Clarinet News» была напечатана статья с перечислением бедствий недавней студентки Софийского университета, специальностью которой был русский язык. Она записалась на другой курс обучения, поскольку практически исчез спрос на учителей русского языка. В 1990 г. декан факультета русского языка Варшавского университета Антони Семчук ввел в дополнение к русскому языку английский, чтобы обеспечить набор студентов.
- ¹⁰ Valiev, R., Sitdikov, R., Khasanova, G. Review: *Tatarstan Faces Challenges*, *Radio Free Europe/Radio Liberty*, 31 December 1997.
- ¹¹ Badretdinov, S. *Sincere Soldiers and Naïve Servants* / S. Badretdinov // *Transitions*. 5. № 12 (December 1998). P. 98.

- ¹² В соответствии с заявлением Американской ассоциации учителей славянских и восточноевропейских языков, сделанным в 1993 г. на собрании в Сан-Франциско, количество студентов в американских университетах, которые изучают русский язык, в 1990-х гг. уменьшилось на 50% по сравнению с 1980-ми гг.
- ¹³ Goble, P. Radio Free Europe/Radio Liberty, 21 September 1998.
- ¹⁴ Hechter, M. *Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development, 1536-1966* / M. Hechter. Berkeley, 1975.
- ¹⁵ Hechter, 30.
- ¹⁶ Solzhenitsyn, A. *The Mortal Danger* / A. Solzhenitsyn; translated by M. Nicholson and A. Klimoff. New York, 1980. P. 14–16.
- ¹⁷ Зограф, Н.Ю. Антропологические исследования мужского великорусского населения Владимирской, Ярославской и Костромской губернии / Н.Ю. Зограф. М., 1890; Веске, М.П. Славянофильские культурные отношения по данным языка / М.П. Веске. Казань, 1890.
- ¹⁸ Kołakowski, L. *Main Currents of Marxism* / L. Kołakowski; translated by P.S. Falla. Oxford, 1978. Vol. 3. P. 95.
- ¹⁹ Transcript of George Kennan's conversation with David Gergen // MacNeil-Lehrer NewsHour. 18 April 1996.
- ²⁰ Наиболее известным из подобных защитников России является Стивен Коэн (Stephen Cohen). 14 сентября 1998 г. (MacNeil-Lehrer NewsHour) он призывал помогать России всеми возможными способами, не обращая внимания на политику ее руководства, и бил тревогу, говоря о стремлении к независимости некоторых «регионов» России.
- ²¹ Pipes, R. *Is Russia Still an Enemy?* / R. Pipes // *Foreign Affairs*. 76. № 5 (September-October 1997). P. 72.
- ²² Ford, P. *The View from the Kremlin: Russia as Eternal Superpower* / P. Ford // *Christian Science Monitor*. Online, 29 May 1997.
- ²³ Джордж Кеннан: «Я думаю, нам нужно быть осторожнее, осуждая их, мы должны помнить, что русские войска вошли в центр Европы с нашего полного согласия» (A Conversation with David Gergen // MacNeil-Lehrer NewsHour. 18 April 1996. См. также: Kennan, G. *On American Principles* / G. Kennan // *Foreign Affairs*. 74. № 2 (March-April 1995). P. 116–126.
- ²⁴ Gandhi, 170.
- ²⁵ A commentary on the Ukrainian vote for independence that took place on 1 December 1991 // MacNeil-Lehrer NewsHour. 2 December 1991.
- ²⁶ During, S. *Post-colonialism* / S. During; edited by K.K. Ruthven // *Beyond the Disciplines: papers from the Australian Academy of the Humanities Symposium*. № 13. Canberra, 1992. P. 95.
- ²⁷ Czapski, J. *Inhuman Soil [Ziemia nieludzka]*. Впервые опубликована в 1956 г. Institut Littéraire (Paris).
- ²⁸ *Mały Rocznik Statystyczny*. Warszawa, 1995. P. 44.
- ²⁹ Ford, P. *Crossing Europe* / P. Ford // *Christian Science Monitor*. Online. 19 and 31 July 1998.
- ³⁰ *The Invention of Tradition* / eds. E. Hobsbawm and T. Ranger. Cambridge, 1983.
- ³¹ *Seven Britons in Imperial Russia, 1698-1812* / ed. P. Putman. Princeton, NJ, 1952.
- ³² *Journey for Our Time: The Russian Journals of the Marquis de Custine* // ed. and trans. Phyllis Penn Kohler. Washington, DC, 1987.

- ³³ Brydon D., Tiffin, H. *Decolonizing Cultures* / D. Brydon, H. Tiffin. Sydney, Australia, 1993. P. 127.
- ³⁴ New Haven, CT: Yale Univ. Press, 1967.
- ³⁵ Pipes (1974), 120. О том, что военные дела являются для России приоритетными, свидетельствует и тот факт, что в ее государственном бюджете на 1999 г. на армию была выделена сумма, необходимая, чтобы на 62% повысить оплату солдат и на 102% – офицеров. И это при том, что финансирование государством всех остальных направлений жизнедеятельности резко уменьшилось. Gordon, M. *Russia Offers 1999 Budget* / M. Gordon. *New York Times*. 11 December 1998.
- ³⁶ Vernandsky, G. *A History of Russia* / G. Vernandsky. New Haven, CT, 1961; Riasanovsky, N.V. *A History of Russia*, 4th ed. / N.V. Riasanovsky. Oxford, 1984.
- ³⁷ Czuby, J. *Rosja i świat: Wyobraźnia polityczna elity władzy imperium rosyjskiego w początkach XIX wieku* / J. Czuby. Warsaw, 1997. P. 61.
- ³⁸ Davies, N. *World War II: Grand Illusions* / N. Davies // *New York Review of Books* 42. № 9. 25 May 1995.
- ³⁹ Dobrzynski, Judith H. *Russia Pledges to Give Back Some of Its Art Looted in War* / Judith H. Dobrzynski // *New York Times*. 3 December 1998.
- ⁴⁰ Solzhenitsyn, A. *Cancer Ward* / A. Solzhenitsyn; translated by Rebecca Frank. New York, 1968. P. 34.
- ⁴¹ Said (1994), 7, 9.
- ⁴² *Ibid.* P. 84.
- ⁴³ *Ibid.* P. 285.
- ⁴⁴ Капуściński, R. *Imperium* / R. Капуściński. Warszawa, 1993.
- ⁴⁵ Thompson, E.M. *Russian Formalism and Anglo-American New Criticism: A Comparative Study* / E.M. Thompson. The Hague, 1971. Юрий Лотман также является исключением.
- ⁴⁶ Филиппов, А. *Смысл империи: к социологии политического пространства* / А. Филиппов; ред. С.Б. Чернышев // *Иное. Хрестоматия нового российского самосознания*. М., 1995. Т. 3. С. 421–476.
- ⁴⁷ Умом Россию не понять // *Литературная газета*. 5 апреля 1990; *Отзвуки великой французской революции в русской культуре* // *Новый мир*. № 7 (июль 1989). С. 185–187.
- ⁴⁸ Ушаков, В. *Немыслимая Россия* / В. Ушаков; под ред. Чернышева // *Иное*. Т. 3, С. 393–420.
- ⁴⁹ Трубачев, О.Н. *В поисках единства* / О.Н. Трубачев. М., 1992.
- ⁵⁰ См. критику книги Саида: Moore-Gilbert, V. *Postcolonial Theory* / V. Moore-Gilbert. London, 1998. P. 34–73.
- ⁵¹ Canovan. *Nationhood and Political Theory*.
- ⁵² Типичным в этом отношении является «В поисках единства» О.Н. Трубачева.
- ⁵³ Gandhi, 89.
- ⁵⁴ Bhabha, H. *DissemiNation: Time, Narrative and the Margins of the Modern Nation* / H. Bhabha // *The Location of Culture*. London, 1994; *Re-Siting Queen's English: Text and Tradition in Post-Colonial Literature* / eds. G. Withlock, H. Tiffin. Amsterdam and Atlanta, 1992.
- ⁵⁵ Ashcroft, B. *The Empire Writes Back* / B. Ashcroft. London, 1989. P. 38–39.
- ⁵⁶ *Ibid.* P. 52.

- ⁵⁷ Проза избытует выражениями, которые характерны для поэзии: «ограниченное пространство» («brief space»), «полмира» («half-world»). Mittelholzer, E. *My Bones and My Flute* / E. Mittelholzer. London, 1955. P. 43.
- ⁵⁸ Gandhi, 99-100.
- ⁵⁹ Bhabha, *The Location of Culture*, 23.
- ⁶⁰ Gayatri Spivak, “Neocolonialism and the Secret Agent of Knowledge,” quoted in Moore-Gilbert, 78.
- ⁶¹ Gandhi, 160.
- ⁶² *Ibid.* P. 168–169.
- ⁶³ *Past the Last Post: Theorizing Postcolonialism and Postmodernism* / eds. I. Adam and H. Tiffin. Calgary, 1990. P. vii.
- ⁶⁴ Moore-Gilbert, 10.
- ⁶⁵ В роман-флеув Марии Домбровской (Maria Dąbrowska) «Noce i dni» (1934) группа студентов польского университета собирается прочесть запрещенные книги, хорошо понимая, что путь к социальным верхам для них закрыт, потому что они поляки, а не русские. Действие романа происходит в конце XIX и в начале XX ст.
- ⁶⁶ Fanon, F. *The Wretched of the Earth* / F. Fanon; translated by C. Farrington. New York, 1968. P. 101.
- ⁶⁷ Шенгели, Г. Аральская катастрофа / Г. Шенгели // *Новый мир*. № 5 (Май, 1989). С. 176–181.
- ⁶⁸ Thompson, E.M. *Ways Out of Postmodern Discourse* / E.M. Thompson // *Modern Age*. Vol. 45. № 3 (summer 2003). P. 195–207; Thompson, E.M. *Understanding Russia: The Holy Fool in Russian Culture* / E.M. Thompson. Lanham, MD, 1987.
- ⁶⁹ Николай Бердяев был первым, кто это отметил. Berdiaev, N. *The Russian Idea* / N. Berdiaev; translated by R.M. French. New York, 1948; Berdiaev, N. *The Origin of Russian Communism* / N. Berdiaev; translated by R.M. French. London, 1955; Gorer, G. *The People of Great Russia* (1949) / G. Gorer, J. Rickman. New York, 1962. P. 187.
- ⁷⁰ Thompson, E.M. *Understanding Russia: The Holy Fool in Russian Culture* / E.M. Thompson. Lanham, MD, 1987.
- ⁷¹ Davies, N. *God’s Playground: A History of Poland* / N. Davies. New York, 1984. Vol. 2. P. 86–90; Bobrowski, T. *Pamiętnik mojego życia* / T. Bobrowski. Warszawa, 1979. Vol. 2. P. 223, 441–522; Pipes (1974), 118-119. Адам Мицкевич описал подобные присвоения в тексте «Ustęp» (1832).
- ⁷² *Inwentarz materiałów do dziejów Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej i w Rosji: 3 vols.* / ed. M. Radwan. Lublin, 1997–1998.
- ⁷³ Seton-Watson, 435.
- ⁷⁴ Тургенев, И. *Собрание сочинений* / И. Тургенев. М., 1961. С. 149.
- ⁷⁵ Turgenev, I. *Fathers and Sons* / I. Turgenev; edited by Ralph E. Matlaw. New York, 1966. P. 27.
- ⁷⁶ Seton-Watson, 280-288; *Kronika Polski* / ed. A. Nowak. Kraków, 1998. P. 431.
- ⁷⁷ «Anhelli» Юлиуша Словацкого – это пронзительное выражение тревоги и гнева подчиненного человека. Написанная на сто лет раньше книги Фанона, эта поэма в прозе высказывает чувства покоренного человека: Słowacki, J. *Dzieła wszystkie* / J. Słowacki. Wrocław, 1952. Vol. 3. P. 9–52. По-английски: Anhelli, в переводе Dorothea Prall Radin (London, 1930).
- ⁷⁸ Interview with David Gergen. See n.19.
- ⁷⁹ Badretdinov, 97–100.

- 80 Solzhenitsyn, *Cancer Ward*, 74.
- 81 «Термин «правозащитник» стал оскорблением России», – сказала Рэйчел Денбер (Rachel Denber), московский представитель группы «Human Rights Watch/Helsinki» в 1995 г. В отчете группы сообщается, что ситуация с правами человека в России в 1995 г. значительно ухудшилась по сравнению с 1990 г. «Русские власти продолжили жестокую войну в отделяющейся республике Чечня, полностью пренебрегая гуманитарным правом, что привело к тысячам смертей мирного населения» (Reuter (Москва), 8 декабря 1995).
- 82 Ford, P. *The View from the Kremlin: Russia as Eternal Superpower* / P. Ford // *Christian Science Monitor*. Online, 29 May 1997. Форд отмечает также, что в 1997 г. Аман Тулеев, губернатор Кемеровской области, высказался так: «Этот парад суверенитетов [декларирование независимости бывшими советскими республиками] уже остался позади... Содружество должно управляться его лидером, Россией». Президент Борис Ельцин в предисловии к своей книге «Борьба за Россию» писал: «Я всегда придерживался мысли, что Россия должна оставаться сильной державой во все времена... Мы получили статус великой державы в наследство и он не только является основой для нашего сознания и нашей культуры, а и кодексом для каждой государственной структуры России». Леонид Фитуни, глава либерального Центра стратегических и глобальных исследований, сделал следующий прогноз: «Конечно, когда Россия станет на ноги, залечит свои раны, когда ее экономика вырастет, она посмотрит за свои границы... Когда Россия будет сильной, неизбежно будет происходить процесс экспансии – сначала экономической, затем политической».
- 83 Ra'anan, U. *Introduction* / U. Ra'anan, ed. // *The Soviet Empire: The Challenge of National and Democratic Movements*. Lexington, MA, 1990). P. x.
- 84 Agence France-Presse, 15 January 1999.
- 85 Чернышев, ред., *Иное*.
- 86 Пастухов, В. Будущее России вырастает из прошлого. Посткоммунизм как логическая фаза развития евразийской цивилизации / В. Пастухов // *Полис*. № 5–6 (1992).
- 87 «Похороны Николая II – событие номер один во всем крещеном мире» / А. Соснов, Нелюбовь к отечественным гробам // *Огонёк*. № 28 (13 июля 1998).
- 88 Сообщение Пенни Морвант (Penny Morvant) в OMRI «Daily Digest» 1 сентября 1995 г.
- 89 Davies, 1984, 89.
- 90 Д.С. Лихачев, обзор работы Б.Д. Грекова «Культура Киевской Руси» (*Исторический журнал*. Вып. 1/2 (137/138) (1945). С. 89–90).
- 91 Неполный список включает Розу Люксембург, Дж.А. Гобсона, Габриэля Колко, Дж.В. Шумпетера, Анну Арендт, Пола Кеннеди, Вильяма Эппмена Вильямса, Ноэма Хомски, Ховарда Зина, Валтера Лефебра (Rosa Luxemburg, J.A. Hobson, Gabriel Kolko, J.A. Schumpeter, Hannah Arendt, Paul Kennedy, William Appleman Williams, Noam Chomsky, Howard Zinn, Walter Lefebvre). Said, *Culture and Imperialism*, 5.
- 92 Новодворская, В. Бросайте за борт все, что пахнет кровью / В. Новодворская // *Новое время*. Сентябрь 1996; *Throw Everything Overboard That Smells of Blood* // translated by Steven Clancy. *Sarmatian Review* 17, № 3 (1997). P. 482.
- 93 Hobsbawn, E.J. *Nations and Nationalism since 1780*, 2d rev.ed. / E.J. Hobsbawn. Cambridge, 1990. P. 65.
- 94 Американский экономист Пол Марер (Paul Marer) доказывал, что Россия поддерживала экономически нежизнеспособные центральноевропейские страны. Marer, P.

- Dollar GNPs of the USSR and Eastern Europe / P. Marer. Washington, DC, 1985; East European Integration and East-West Trade / P. Marer, ed. Bloomington, 1980; Marer, P. Soviet and East European Foreign Trade / P. Marer. Bloomington, 1972.
- ⁹⁵ William, C. Strategy and Power in Russia, 1600–1914 / C. William, Jr. Fuller. New York, 1992.
- ⁹⁶ В 1995 г. была создана девятая «автономная» провинция вокруг аэродрома Байконур и города Ленинска, арендованных на два десятилетия у Казахстана. С другой стороны, регион Чечни держит курс на независимость, таким образом уменьшая количество субъектов федерации до 89.
- ⁹⁷ В интервью Radio Free Europe/Radio Liberty 15 сентября 1998 г. Збигнев Бжезински (Zbigniew Brzezinski) предположил, что Российская Федерация будет реорганизована в конфедерацию, состоящую из русской земли в европейской части России, Центрального региона в Сибири и Дальнего Востока.
- ⁹⁸ Caryl, C. Russia's Tough Guy / C. Caryl // U.S. News and World Report. Online. 21 September 1998.
- ⁹⁹ Goble, P. Can Russian Diplomacy Hold Russia Together? / P. Goble. Radio Free Europe / Radio Liberty. 23 September 1998.

РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ В. ЛЕНИНА В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЯХ БССР В 1939–1941 гг.

Груз советской научной школы, который лежит на современной белорусской историографии, становится причиной многочисленных методологических ошибок. Но прежде всего это выявляется в категорическом отрицании всей советской историографии и тех теоретических работ, что оказали существенное влияние на судьбы многих народов в XX в.

Значение В. Ленина как социально-политического теоретика в становлении советского государства никогда не вызывало сомнений, чего не скажешь о реализации ленинской доктрины в процессе более позднего формирования СССР. Впрочем, обычно дискуссии историков относительно этого вопроса не становятся предметом аналитических исследований. К тому же обращение к работам В. Ленина сегодня считается едва ли не анахронизмом. А между тем ревизия его идей, оказавших огромное влияние на жизнь миллионов людей, представляется весьма актуальной.

Цель данной статьи – проследить эффективность ленинского учения в политике просвещения на аннексированных землях, в частности на присоединенной в 1939 г. территории Западной Белоруссии.

Тезис о создании национальных школ с самого начала сделался одним из ключевых в системе общеобразовательной политики на присоединенных землях. По мнению С. Жижека, в 1920-х гг. В. Ленин «осознавал, что главной задачей для большевиков является необходимость выполнить задачи прогрессивного буржуазного строя (обеспечение всеобщего образования и т. д.)»¹. Образовательная революция в СССР стояла на принципах развития национальной по форме и социалистической по содержанию культуры. Правда, опыт восточнобелорусских

территорий показал, что главным являлось все-таки «содержание». Однако в постановлении Бюро ЦК КП(б)Б по народному образованию пункт о последовательном осуществлении «ленинско-сталинской политики в области просвещения и школы» стоял впереди решений о перестройке системы образования в соответствии с советскими программами. В нем говорилось, что ЦК КП(б)Б «считает необходимым, исходя из условий Западной Белоруссии и интересов нацменьшинств, открыть с 1 января 1940 г. белорусские, русские, еврейские, польские и литовские школы»². Таким образом воплощался в жизнь один из ранних тезисов В. Ленина о «праве населения получать образование на родном языке»³.

Но, несмотря на декларации, роль школы в системе государственных учреждений значительно изменилась. Теперь в ее основе были следующие ленинские слова: «одним из... буржуазных лицемерий является убеждение в том, что школа может быть вне политики»⁴ и «школа должна стать орудием пролетариата»⁵.

Согласно сталинской трактовке, на присоединенной территории создавалась школа, национальная по форме и социалистическая по содержанию, что, в принципе, соответствовало неоднократным утверждениям В. Ленина о вредности разделения школьного дела по национальностям в пределах одного государства «с точки зрения демократии вообще и интересов классовой борьбы пролетариата в особенности»⁶. Причем В. Ленин не однажды подчеркивал, что употребление родных языков в сфере просвещения и культуры не есть разделением школьного дела по национальностям⁷. Однако, как указывали белорусские эмигранты, такое положение вещей противоречило принципам основоположного для большевиков марксизма с его единством формы и содержания⁸. По точному замечанию Г. Паланевича, это было всего лишь начало на пути к слиянию всех культур в одну общую и по содержанию, и по форме, чего не скрывал и сам И. Сталин⁹. К тому же нарушения национальных принципов при реорганизации школ были настолько очевидными, что не вписывались даже в декларативные рамки «ленинско-сталинской национальной политики». Республиканское руководство (и лично первый секретарь ЦК КП(б) Б. П. Пономоренко) после получения письма «О недостатках в работе партийных и советских органов в западных областях Белоруссии»¹⁰ вынуждено было непосредственно заняться этой проблемой. 30 сентября 1940 г. выходит секретный документ «О фактах извращений ленинско-сталинской национальной политики в школьном строительстве Белостокской области». В нем отмечаются многочисленные нарушения в сфере школьного образования (прежде всего – «русификаторство»). Нарком просвещения Е. Уралова обязывалась принять меры «к исправлению и устранению извращений»¹¹.

В самом деле, архивные документы сообщают об «исправлении ошибок национальной политики»¹². Однако из них также следует, что «искривления исправлены не полностью». В Белостокской области «количество школ на польском языке увеличилось на 39»¹³, что несравнимо меньше числа школ, ранее переведенных в русскоязычные. Процент школ на польском языке так и не достиг уровня конца

предыдущего учебного года¹⁴. Это и неудивительно, учитывая, что вместо «убывших» по разным причинам жителей (среди них преобладали лица польской национальности) сюда переехали в большом количестве русскоязычные гражданские функционеры и военные (согласно некоторым данным, более 1,5 млн¹⁵), концентрировавшиеся главным образом в городской местности (согласно исследованиям М. Волатича, население некоторых городов увеличилось в два раза¹⁶), что требовало увеличения русскоязычных городских школ и других учебных заведений.

Уменьшение часов, отводимых на изучение гуманитарных предметов, происходило почти пропорционально увеличению внимания к точным дисциплинам. Как и «завещал» В. Ленин¹⁷, необходимо было «приблизить теорию к практике, увязав вопросы теории с жизнью, техникой»¹⁸, что для большинства школ западных областей БССР было очень актуально в силу «разрыва между теорией и практикой»¹⁹. Однако слабая материально-техническая база школ препятствовала подобным преобразованиям²⁰, а по некоторым данным – и вообще не соответствовала требованиям советской школы²¹.

Военная подготовка в СССР начиналась со школьной скамьи. Однако накануне 1940/1941 учебного года был поднят вопрос об увеличении количества уроков физкультуры и военного дела²². «Для лучшей подготовки школьников к службе в Красной Армии в учебные планы V–VII классов была введена начальная военная подготовка; в VIII–X классах вводилась допризывная подготовка по особой программе»²³. То есть первые навыки военного дела советские дети стали получать с 12 лет, что соответствовало установкам В. Ленина²⁴. В марте 1941 г. СНК БССР очередным постановлением потребовал уделить еще больше внимания физической подготовке, особенно в сельских школах²⁵. То есть самым непосредственным образом «в школе подготавливалось то, что в жизни осуществлялось»²⁶, – усиленная милитаризация.

Требования школьной программы распространялись не только на учащихся, но и на их родителей, которые должны были помогать воспитывать поколение, «беззаветно преданное делу Ленина – Сталина, проникнутое ненавистью к врагам трудящихся»²⁷. С этой целью в каждой школе создавались родительские комитеты²⁸, а среди самих родителей проводилась «педагогическая пропаганда» (родительские университеты, доклады, консультации и т.д.)²⁹.

Девизом кадровой политики в сфере просвещения стали слова В. Ленина: «Народный учитель должен у нас быть поставлен на такую высоту, на которой он никогда не стоял и не стоит и не может стоять в буржуазном обществе»³⁰. Советская историография утверждала, что «Ленин учил партию ставить перед учителями огромную задачу – насыщать духом коммунизма трудящиеся массы»³¹. Таким образом обозначались место и функция советского учительства в борьбе за построение нового строя и распространение идей социалистической революции, что было особенно актуальным на инкорпорированных землях. «Важнейшей, основной, решающей задачей» являлось «вооружение учителей теорией марксизма-ленинизма»³². Учитывая широкоизвестный советский трюизм «кадры решают все»³³, в исследова-

нии реорганизации системы образования данный аспект приобретает едва ли не ключевое значение. Кадровый фактор являлся одним из индикаторов состояния национальной школы, которая должна быть обеспечена «нужным образом подготовленными, национально сознательными, владеющими национальным языком преподавателями и учителями»³⁴.

Новая власть понимала свою «нежелательность» для значительной части населения и стремилась изменить это положение путем оперативной советизации аннексированных территорий, для чего требовались в большом количестве новые люди³⁵. Одним из важнейших средств в процессе советизации являлось просвещение. Поэтому роль педагогов не ограничивалась работой в школе, а, как и призывал В. Ленин, обязана была иметь активный общественный характер: «Учительская армия должна поставить себе гигантские просветительские задачи и прежде всего должна стать главной армией социалистического просвещения. <...> Задача новой педагогики – связать учительскую деятельность с задачей социалистической организации общества»³⁶. Для педагога советской школы главным был не его профессиональный уровень, а идейное соответствие коммунистической доктрине³⁷. Разного рода агитация стала одним из видов внешкольной деятельности, предписываемых советскому учительству. В частности, 3000 педагогов Белостотчины (более половины) приняли участие в предвыборной агитационной кампании 1939 г.³⁸ Но поскольку местным педагогам доверять было нельзя, то, используя острый недостаток педкадров в учебных заведениях Западной Белоруссии, сюда начали присылать «своих», советских (или, лучше сказать, советизированных) учителей и не обязательно с педагогическим образованием, так как главной их задачей, как показало время, было совсем не качественное обучение³⁹.

Успеху этой широкой «миграции» содействовал еще и тот фактор, что приезжие с востока становились элитой местного общества, имеющей большие привилегии и лояльность власти⁴⁰. Как правило, из-за недоверия к местному населению они занимали ключевые должности во всех сферах, в том числе и в просвещении⁴¹. В этом плане показательным является штатный состав работников Клецельского района Брестской области: заведующий отделом – товарищ Косоруков, коммунист, направлен из Витебской области, где до этого работал учителем сельской школы; инспектор отдела – товарищ Жукова, комсомолка, направлена из России, где работала в городе Куйбышеве учительницей; политический инспектор – кандидат в члены КП(б)Б товарищ Попов, до назначения на ответственную политработу в органах народного образования служил красноармейцем в 229-м стрелковом полку⁴². Общеобразовательные школы по возможности обеспечивались директорами с востока, особенно польские, наиболее беспокойные и ненадежные в политическом плане. В частности, в Белостоке из 13 польскоязычных школ областного центра 11 возглавляли приезжие из Российской Федерации и две – местные (по национальности белорус и украинец)⁴³.

Еще один приток учительства в западнобелорусские школы осуществлялся через обучение на разнообразных курсовых мероприятиях, развитие которых довольно быстро приобрело распространенный характер и сформировалось в системный процесс. Курсы были различными по протяженности (от трехдневных семинаров до девяти месяцев обучения) и содержательному наполнению (особенно для учителей-предметников⁴⁴; исключением являлось изучение основ марксизма-ленинизма, обязательное для всех, причем на «основы» времени отводилось больше, чем на любой другой предмет⁴⁵).

Анализируя кадровое обеспечение школы, стоит отметить, что в Советской Белоруссии национальные школы стремительно русифицировались, но никто не придавал этому серьезного значения. Между тем продекларированное удовлетворение национальных интересов в сфере просвещения вынудило обратить внимание на эту проблему при подготовке педкадров, которые направлялись на работу в западные области Белоруссии. Однако реальной целью была, как уже говорилось, не национальная культура, а советизация территорий, где школа отыгрывала роль одной из движущих сил, поэтому и «просчеты», связанные с подбором кадров, следует относить к сознательной образовательной политике на занятых землях.

Но чтобы формально соответствовать продекларированной идеологии, 17 октября 1940 г. было принято постановление «Об упорядочении дела подбора и посылки работников в западные области БССР». В нем отмечалось, что «распространились случаи посылания в западные области работников, в которых там нет никакой нужды, на должности и работу, которые с успехом могут занять местные кадры... Наркомпрос ввел практику направления учителей в западные области без учета действительной необходимости и национального состава школ»⁴⁶. Общее недоверие к местным специалистам (особенно польской национальности) было признано вредным. Теперь декларировался «уклон» в сторону коренизации – выдвижения на руководящие должности местных кадров⁴⁷.

Но еще раньше в ЦК КП(б)Б была направлена специальная записка «О фактах извращения ленинско-сталинской национальной политики отделами народного образования в Белостокской области», в которой сообщалось о различных эксцессах:

«– город Белосток. В польской школе № 24 работает директором комсомолец товарищ Шевель, который приехал из восточной части Белоруссии. Никому из учителей польской национальности он не доверяет, поэтому отношения с преподавателями напряженные. На занятиях не бывает, так как не знает польского языка;

– Августовский район. Прислано в район 40 преподавателей, которые не знают польского языка. 7 учителей преподают историю СССР в польских школах на русском языке;

– Свислочский район. Заместитель заведующего районного отдела народного образования товарищ Степанов был недоволен, что преподаватели в учительской

разговаривают по-польски: “Если среди вас присутствует русский, то вы и разговаривайте по-русски, или переводите, о чем говорите”»⁴⁸.

В письме ЦК КП(б)Б «О недостатках в работе партийных и советских органов в западных областях Белоруссии» говорилось: «Перестраивая школу, партийные организации много сделали для того, чтобы очистить учительский состав школ, в частности польских, от национальных, контрреволюционных элементов. Однако при этом в нескольких районах стали проявлять огульное недоверие и увольнять большинство поляков-учителей из школ, хотя к этому не было оснований.

Очищая школы от враждебных элементов, партийные организации обязаны были отличить врагов от честных и преданных людей и не допускать огульного подхода и необоснованного увольнения с преподавательской работы людей, ничем себя не скомпрометировавших и искренне стремящихся работать на благо нашей родины.

Особо нетерпимыми являются действия некоторых работников, сводящиеся к ограничению прав польского населения на пользование польским языком»⁴⁹.

Учителя с востока после принятых мер должны были изучать польский язык или сменяться местными кадрами⁵⁰ – это касалось даже дирекции школ⁵¹.

Местные органы народного образования стремились исправить положение. Например, Брестский отдел народного образования рекомендовал:

«– не группировать в одних школах учителей с большим стажем, а в других – молодежь;

– отпускать учителей из района только в исключительных случаях (например, по семейным обстоятельствам);

– указать вакантные места, чтобы новых учителей можно было сразу направлять в соответствующие школы и на соответствующие предметы»⁵².

Но в большинстве своем все эти меры так и остались на бумаге, а в реальной жизни экспансия «восточников» продолжалась⁵³. Потому что публично отмеченные якобы просчеты «ленинско-сталинской национальной политики» на самом деле имели целенаправленный характер, поскольку соответствовали целесообразности политического момента. Иначе говоря, ленинские принципы оказались ненужным атавизмом в контексте политического курса того времени.

На аннексированных землях необходимо было проводить кардинальные перемены для достижения целей построения социализма и культурной революции, что предполагало всеобщее образование и ликвидацию безграмотности (В. Ленин настойчиво обращал внимание на необходимость культурного просвещения крестьянских масс⁵⁴, а именно они составляли подавляющее большинство в западнобелорусском регионе). Ликбез, согласно стратегии В. Ленина, должен был одновременно служить и политическому просвещению⁵⁵. Этой стороне образования на присоединенных к БССР землях советская власть попыталась придать стремительные темпы, что, однако, не принесло ощутимых результатов. Например, в Пинской области с наиболее консервативным населением организация ликбеза даже на общем фоне

его критического состояния объективно находилась на грани провала⁵⁶. Впрочем, даже В. Ленин, говоря о просветительской работе с массами, предупреждал, что «скачками здесь завоевать можно меньше всего, особенно среди масс, стоящих на низком культурном уровне»⁵⁷, что «мы ни в коем случае не должны спешно нести коммунистические идеи напрямую в деревню», «поспешность и размахистость наиболее вредны»⁵⁸. Но советская власть конца 1930-х гг. как будто забыла о предостережении вождя. Это наводит на мысль, что оперативное проведение ликбеза имело не столько просветительское, сколько идеологическое значение. Иначе говоря, ликбез проводился не ради повышения грамотности, а с целью улучшения «идейной атмосферы» в коммунистическом духе (это, кстати, встретило сопротивление в западных районах присоединенной территории).

Что касается национальных проблем в школах по ликвидации неграмотности и малограмотности в других областях, то ни в архивных источниках, ни в историографии об этом практически ничего не сообщается. Последнее позволяет предположить, что национальные проблемы в той ситуации не были актуальными ни для властей, ни для учащихся школ. По устному сообщению профессора БрГУ (Брест) А. Мойсейчика, даже среди белорусского населения ликбез часто проводился на русском языке, хотя буква закона предписывала организацию ликбеза и на белорусском языке, и на языке нацменьшинств (польском и идиш)⁵⁹.

Одной из важнейших задач в советской сфере просвещения являлось открытие высших учебных заведений и их доступность народным массам. Студентами педагогического института могли стать не только выпускники польских лицеев и гимназий, но и просто показавшие осведомленность и образование на уровне советской средней школы⁶⁰. «Набирали туда (в вузы. – А.Т.) абитуриентов, не требуя аттестатов зрелости, – достаточно было свидетельства за четыре класса гимназии нового типа или и того меньше»⁶¹. Среди абитуриентов БГПИ фигурировали поступающие как с неполным средним, так и с начальным («низшим») образованием⁶². Однако даже ленинский принцип создания приоритета выходцам из пролетарской и беднейшей крестьянской среды⁶³ и нарушение законодательства, требовавшего «аттестат об окончании полного курса средней школы»⁶⁴, не смогли обеспечить планы по набору студентов. Общество оказалось совершенно неподготовленным к такому «подарку», чтобы в полной мере им воспользоваться.

Введение с 1940/1941 учебного года «небольшой» платы за обучение, как и следовало ожидать, не содействовало его популяризации. Если раньше 80% студентов обеспечивались стипендией⁶⁵ (около 100 рублей в месяц на первом курсе и до 200 на пятом⁶⁶), то после принятия 2 октября 1940 г. постановления о платности обучения стипендия сохранялась лишь за отличниками (1/3 оценок не ниже «хорошо») – остальные должны были платить сумму в размере 300 рублей в год⁶⁷. (С 22 апреля 1940 г. появилась еще и стипендия имени Сталина, которой награждались самые лучшие студенты. Из 65 стипендий на все вузы Белоруссии⁶⁸ учитель-

ские институты западных областей имели лишь по одной стипендии, а педагогический – две⁶⁹.)

Платное обучение не увеличивало симпатий к советской власти, действия которой в данном случае противоречили и Конституции, и ленинским принципам. Однако, наученные горьким опытом властвования большевиков, студенты не возмущались, что дало основания сообщать о «здоровом настроении» среди основной массы студенчества при имеющихся место отдельных фактах «контрреволюционных выступлений», которые сразу передавались на рассмотрение следственным органам⁷⁰.

Содержание обучения студентов строилось таким образом, чтобы будущие учителя в первую очередь формировались как носители и проводники коммунистической идеологии, а уже затем – как профессионалы своего дела. Изучению марксизма-ленинизма придавалось приоритетное значение. Статус члена комсомольской организации был чрезвычайно престижным, комсомольцы играли роль авангарда молодежи. Их количество стремительно увеличивалось (в БГПИ за три семестра число комсомольцев выросло с трех до 55)⁷¹.

6 октября 1940 г. в Пинске был открыт Университет марксизма-ленинизма (вслед за созданием аналогичных заведений в РСФСР, в частности в Ленинграде⁷², что является еще одним подтверждением оперативной унификации системы образования западных областей БССР). Он состоял из двух факультетов – истории ВКП(б) и политэкономии. В учебную программу включались также циклы лекций по истории народов СССР, экономической географии и литературе. В университет было принято 100 человек. Обучение в нем, как и в других советских вузах того времени, являлось платным.

Кратко резюмируя, следует сказать, что ленинское понимание народного образования и коммунистического просвещения хоть и легло в основу реорганизации системы образования в западных областях БССР в 1939–1941 гг., однако не являлось для него реальным ориентиром, поскольку часто противоречило политической тактике и стратегии руководства СССР. Фактически это означало, что становление и развитие системы советского образования на присоединенной к БССР в 1939 г. территории происходило в полной зависимости от политического контекста, жестко подчиняясь изменениям государственного курса, однако общие векторы просвещения практически соответствовали поставленной В. Лениным цели – созданию интернациональной культуры, «сливающей все нации в высшем социалистическом единстве»⁷³. А некоторые отклонения от теоретических положений вполне можно объяснить определенной степенью их идеалистичности, что потребовало корректировки в соответствии с реальностью исторического момента. Думается, в этом плане руководство СССР во главе с И. Сталиным⁷⁴ проявило воистину диалектический подход к теоретическому наследству В. Ленина, не выходя за рамки методологии классического марксизма.

Примечания

- ¹ Жыжак, С. Лавіце момант: ленінская спадчына / С. Жыжак // АРСНЕ-Пачатак. 2004. № 4. С. 94.
- ² Национальный архив Республики Беларусь (далее – НАРБ). Ф. 4, оп. 27, д. 158, л. 46.
- ³ Ленин, В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. М., 1972. Т. 7. С. 277.
- ⁴ Там же. М., 1974. Т. 37. С. 431.
- ⁵ Там же. М., 1974. Т. 38. С. 116.
- ⁶ Там же. М., 1973. Т. 24. С. 58, 134, 172; Т. 25, 1973. С. 145.
- ⁷ Там же. М., 1973. Т. 24. С. 237.
- ⁸ Глыбінны, У. У катніх руках / У. Глыбінны // Раніца. 1941. 10 снежня. С. 3.
- ⁹ Паланевіч, Г. Нацыянальная тэорыя і практыка бальшавізму ў Беларусі / Г. Паланевіч // Беларускі зборнік. Мюнхен, 1960. Кн. 12. С. 69.
- ¹⁰ НАРБ. Ф. 4, оп. 3, д. 1081, л. 41–53.
- ¹¹ Там же. Ф. 4, оп. 3, д. 1072, л. 166–173.
- ¹² Государственный архив общественных организаций Гродненской области (далее – ГАОО ГО). Ф. 6196, оп. 1, д. 424, л. 52-54.
- ¹³ ГАОО ГО. Ф. 2, оп. 50, д. 67, л. 38.
- ¹⁴ Там же. Ф. 6195, оп. 1, д. 398, л. 66; д. 399, л. 12, 86; д. 410, л. 297 обр.
- ¹⁵ Jasiewicz, K. Zagłada Polskich Kresów. Ziemiaństwo polskie na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939–1941. Studium z dzieów zagłady dawnego narodu politycznego / K. Jasiewicz. Warszawa, 1998. S. 87.
- ¹⁶ Волаціч, М. Насельніцтва Заходняй Беларусі і яго перасяленне між сучаснай Польшчай і БССР / М. Волаціч // Беларускі зборнік. Мюнхен, 1956. Кн. 4. С. 17.
- ¹⁷ Ленин, В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. М., 1974. Т. 38. С. 96.
- ¹⁸ Народное образование в БССР. Сборник документов и материалов. 1928–1941 гг. Мн., 1980. Т. 2. С. 366.
- ¹⁹ НАРБ. Ф. 4, оп. 27, д. 240, л. 21, 24–30.
- ²⁰ Pietrowska, O. Polityka w dziedzinie oświaty i kultury na obszarze Polesia Brzeskiego w latach 1939–1941 / O. Pietrowska // *Spółeczeństwo białoruskie, litewskie i polskie na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939–1941*. Warszawa, 1995. S. 177; НАРБ. Ф. 4, оп. 27, д. 356, л. 59.
- ²¹ Batura, W. Dzieje Augustowa od założenia do 1945 roku / W. Batura, A. Makowski, J. Szlaszyński. Suwałki, 1997. S. 311.
- ²² Лейкина, М. Физическая культура в школе / М. Лейкина // Советская педагогика. 1940. № 4–5. С. 51–56.
- ²³ Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. 1917–1941. М., 1980. С. 413.
- ²⁴ См.: Ленин, В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. М., 1974. Т. 41. С. 318.
- ²⁵ Государственный архив Брестской области (далее – ГАБО). Ф. 279, оп. 1, д. 2, л. 43.
- ²⁶ Ленин, В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. М., 1973. Т. 24. С. 175.
- ²⁷ Инструкция аб парадку рэарганізацыі заходніх абласцей БССР. Мінск, 1939. С. 28.
- ²⁸ См.: «Положение о родительском комитете...»: Инструкция аб парадку рэарганізацыі заходніх абласцей БССР. Мінск, 1939. С. 28–31.
- ²⁹ Народное образование в БССР. Сборник документов и материалов. 1928–1941 гг. Мінск, 1980. Т. 2. С. 368.

- ³⁰ Ленин, В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. М., 1975. Т. 45. С. 365.
- ³¹ Петрыкаў, В. Ленінскія прынцыпы будаўніцтва савецкай школы / В. Петрыкаў // Савецкая школа. 1957. № 5. С. 16.
- ³² Інструкцыя аб парадку рэарганізацыі заходніх абласцей БССР. Мінск, 1939. С. 39.
- ³³ Кстати, его использовал и Сталин, говоря о формировании именно советской интеллигенции (см.: Вольфсон, С.Я. Сталин об интеллигенции / С.Я. Вольфсон // Советская наука. 1939. № 12. С. 74).
- ³⁴ Яцкевіч, С. Нацыянальная школа як сацыякультурны феномен: шляхі даследавання / С. Яцкевіч; нав. рэд. С. А. Яцкевіч // Адукацыя. Гісторыя. Мова: Тэматычны зборнік навуковых прац па беларусазнаўству. Брэст, 1992. С. 9.
- ³⁵ Были разработаны даже соответствующие планы (по: Суворов, В. Ледокол. День "М" / В. Суворов. М., 1995. С. 57). Подробнее см.: Триандафиллов, В.К. Характер операций современных армий / В.К. Триандафиллов. М.; Л., 1929. С. 177–178.
- ³⁶ Ленин, В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. М., 1974. Т. 36. С. 420.
- ³⁷ См., например: Ленин, В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. М., 1974. Т. 41. С. 405.
- ³⁸ ГАОО ГО. Ф. 6195, оп. 1, д. 9, л. 30.
- ³⁹ Подробнее о кадровой политике в системе просвещения в западных областях БССР образца 1939–1941 гг. см.: Śleszyński, W. **Władze szkolne i kadra pedagogiczna w sowieckim modelu oświaty na obszarze przedwojennego województwa białostockiego w latach 1939–1941** / W. Śleszyński // Białoruskie Zeszyty Historyczne. Białystok, 2001. № 16. S. 128–140; Трафімчык, А. Педагагічныя кадры агульнаадукацыйнай школы заходніх абласцей Беларусі ў 1939–1941 гг. / А. Трафімчык // Беларускі гістарычны часопіс. 2003. № 4. С. 23–29.
- ⁴⁰ Подробнее см.: Петровская, О.В. Реалии советской жизни: культура и быт Бреста в 1939–1941 годах / О. Петровская // Radziecka agresja 17 września 1939 r. i jej skutki dla mieszkańców ziem północno-wschodnich II Rzeczypospolitej. Białystok, 2000. С. 231–253; Jasiewicz, K. Pierwsi po diable. Elity sowieckie w okupowanej Polsce 1939–1941 (Białostoczczyzna, Nowogródzczyzna, Polessie, Wileńszczyzna) / K. Jasiewicz. Warszawa, 2001. S. 152.
- ⁴¹ Подобное уже практиковалось в истории Российской империи после польского восстания 1863 г. «Временные правила для народных училищ Северо-Западных губерний», изданные Муравьевым 1 января 1964 г., основаны на недоверии к местному учительству, независимо от того, было ли оно католическим или православным. Таким доверием пользовались только «истинно-русские учителя», «настоящие великороссы из внутренних великорусских губерний». По: Дубавец, С. Почему мы не стали русскими? / С. Дубавец // Неман. 1994. № 1. С. 154.
- ⁴² ГАБО. Ф. 279, оп. 1, д. 1, л. 120.
- ⁴³ НАРБ. Ф. 4, оп. 27, д. 243, л. 8.
- ⁴⁴ Хотя внимание «предметникам» уделялось одностороннее, для преподавателей национальных языков, кроме русского и белорусского, курсов не проводилось (см.: ГАОО ГО. Ф. 6195, оп. 1, д. 399, л. 18.)
- ⁴⁵ См., например, программу трехнедельных курсов, составленную для учителей математики и физики Белостока и Гродно в июне 1940 г.:
- история ВКП(б) – 30 часов,
 - педагогика – 15 часов,
 - русский язык – 24 часа,

- белорусский язык – 24 часа. (ГАОО ГО. Ф. 6195, оп. 1, д. 399, л. 18.)
- 46 НАРБ. Ф. 4, оп. 3, д. 1079, л. 4.
- 47 Вабішчэвіч, А. З нацыянальнага-культурнага жыцця заходніх абласцей БССР у 1939–1941 гг.: моўны аспект / А. Вабішчэвіч // Radziecka agresja 17 września 1939 r. i jej skutki dla mieszkańc6w ziem p6łnocno-wschodnich II Rzeczypospolitej. Białystok, 2000. С. 203.
- 48 НАРБ. Ф. 4, оп. 27, д. 243, л. 7–10.
- 49 НАРБ. Ф. 4, оп. 3, д. 1081, л. 42–43.
- 50 ГАОО ГО. Ф. 6195, оп. 1, д. 400, л. 42, 44.
- 51 Там же. Ф. 6195, оп. 1, д. 410, л. 297 обр.
- 52 ГАБО. Ф. 279, оп. 1, д. 9, л. 3.
- 53 ГАОО ГО. Ф. 6195, оп. 1, д. 410, л. 297 обр.
- 54 По: Жыжак, С. Лавіце момант: ленінская спадчына / С. Жыжак // АРСНЕ Пачатак. 2004. № 4. С. 94.
- 55 Ленин, В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. М., 1974. Т. 44. С. 170–174.
- 56 См. подробнее: Трафімчык, А. Ліквідацыя непісьменнасці ці непісьменнасць ліквідацыі? / А. Трафімчык // Народная асвета. 2002. № 2. С. 43–46.
- 57 Ленин, В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. М., 1974. Т. 37. С. 464.
- 58 По: Жыжак, С. Лавіце момант: ленінская спадчына / С. Жыжак // АРСНЕ Пачатак. 2004. № 4. С. 94.
- 59 ГАОО ГО. Ф. 6195, оп. 1, д. 410, л. 245.
- 60 По: Śleszyński, W. Kształtowanie się sowieckiego szkolnictwa wyższego na Białostoc-
czyźnie w latach 1939–1941. Instytut pedagogiczny w Białymstoku i instytut nauczyciel-
ski w Grodnie / W. Śleszyński // Biuletyn historii pogranicza. Białystok, 2000. S. 45.
- 61 Калеснік, У. Доўг памяці / У. Калеснік // Польша. 1997. № 10. С. 197.
- 62 ГАОО ГО. Ф. 6195, оп. 1, д. 369, л. 78.
- 63 Ленин, В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. М., 1974. Т. 37. С. 34.
- 64 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов,
конференций и пленумов ЦК (1898–1986). Т. 6. 1933–1937. 9-е изд., доп. и испр. М.,
1985. С. 353.
- 65 ГАОО ГО. Ф. 6195, оп. 1, д. 369, л. 111.
- 66 Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zespół “Delegatura Rządu RP na Kraj”, sygnatura
202/XVIII-6 t. 3, S. 280.
- 67 Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа. Сборник документов.
1917–1973 гг. М., 1974. С. 177.
- 68 НАРБ. Ф. 4, оп. 27, д. 247, л. 95.
- 69 Собрание постановлений и распоряжений правительства Белорусской Советской
Социалистической Республики. 1940. № 16. Ст. 76. С. 294.
- 70 НАРБ. Ф. 4, оп. 21, д. 1886, л. 14–17.
- 71 ГАОО ГО. Ф. 6195, оп. 1, д. 400, л. 9, 13–15.
- 72 Первый день занятий в университете марксизма-ленинизма // Правда. 1940. 16 сент.
С. 1.
- 73 Ленин, В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. М., 1973. Т. 24. С. 235.
- 74 «Што датычыць мяне, то я толькі вучань Леніна і мэта майго жыцця – быць дастой-
ным яго вучнем», – прызнаваўся Сталін (Сталін, І.В. Творы / І.В. Сталін. Мінск,
1951. Т. 13. С. 104).

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ О ЯЗЫКЕ БЕЛАРУСИ КАК СТРАНЫ ПОГРАНИЧЬЯ

Цель настоящей статьи – представить некоторые общие замечания о языковой ситуации в Беларуси. Мой тезис: Беларусь – страна пограничья культур. В этой статье его подтверждают высказывания жителей белорусско-русского пограничья Могилевской и Витебской областей.

Проанализированный эмпирический материал был собран во время полевых исследований, проведенных в рамках Международной гуманитарной школы Средне-Восточной Европы (МГШ) при Варшавском университете в июне 2004 г. Характер исследований – согласно основным методам МГШ – интердисциплинарный¹. В процессе полевых исследований мы посетили 13 деревень и поселков Горковского, Ленинского, Дрибинского районов Могилевской области (Вишня, Гонтовля, Еськовка, Каратышки, Красулино, Куртасы, Покуцце, Поташа, Рясна, Савва, Суславка, Сысуево, Юрково) и деревню Баево Дубровинского района Витебской области.

Общие представления, касающиеся остальной территории Беларуси, почерпнуты из доступных автору работ². Сравнение материалов, собранных во время полевых исследований, позволяет провести некоторые параллели между данным регионом и остальной частью страны и в дальнейшем выдвинуть тезис о Беларуси как о стране пограничья. Важно отметить, что во время полевых исследований нашими собеседниками были в основном мало- или вообще неграмотные люди старшего поколения. Такова на данный момент структура населения белорусско-русского пограничья Могилевской и Витебской областей – молодежь и образованные специалисты покинули деревню, предпочитая жизнь в городе. Но, несмотря на это, полученные сведения в большой степени совпадают с существующей в науке оценкой языковой ситуации в Беларуси.

Представленные ниже выводы, конечно, не окончательны, их следует считать скорее вступительными замечаниями. Данная проблема требует дальнейшего, более глубокого исследования.

Белорусская культура всегда находилась на пограничье культур: западной (латинской), которая транслировалась через Польшу, и восточной (византийской) – из русских земель. Вместе с культурой проникало влияние языков этих стран. Его отпечаток виден и на современном белорусском языке.

1) У жителей пограничья своеобразное языковое самосознание. Большинство тех, с кем мы разговаривали, утверждали, что пользуются белорусским языком, хотя и не престижным (*prosty, naš, m'esnyj*). Но почти все сразу же уточняли, что это смешанный белорусско-русский язык: *s'm'es'*:

A ty – na m'ešancy! I tak i tak skažut' ...Pa b'elarusku i pa rusku... Jak vudumajem – i us'o... (Рясна, Дрибинский район).

A eta m'esnyj, m'esnyj, n'e rusk'i, n'e b'elarusk'i... (Боево, Дубровинский район).

Как дистинктивные характеристики названия данного языка они приводили определения: белорусско-русский (или же наоборот – *русско-белорусский*), *не русский, не белорусский, сам по себе, смешанный, мешанка, мешаная мова, мешанный язык – слово по-русску, слово по-белорусску, каша, не разберешь.*

N'e paŋac'. N'i to rusk'i n'i to b'elarusk'i. N'e izv'esna. I pa rusku katora slova ska žaš i pa b'elarusku (Боево, Дубровинский район).

Литературный белорусский язык в «чистом виде» отсутствует и в деревнях других районов Беларуси. Говор, в который в разной степени проникает русский или – на западе страны – польский язык, является элементом своячества и связан с местной традицией. Для его базовой характеристики уместно скорее всего понятие «локальности». Этот говор является основным средством коммуникации местного населения. Он объединяет людей в определенное сообщество, что особенно заметно на фоне русскоязычных жителей города.

Это положение наглядно подтверждается высказываниями опрошенных нами жителей: к русскому они относятся как к языку города (и литературному) в противоположность *простому, своему, нашему*:

Tam bol'sha pa rusk'i yavorac' u l'ubom yoraz'e. Vo prym'erna n'e dal'oka ūž'ac', vo Orša, tam ža ūžo na rusk'im. Vot u mianje ūnuk'i. Jany m'aŋe trox'i i papraŭljajuc'. Ja što n'ibud' ska žu, a jany: «Babuška, eta ty vot tak eta» ...A ja yavar'u: «Ja razyavaryvaju na svajom jazyk'e»... (Боево, Дубровинский район).

Свой язык, на котором общаются наши собеседники, они определяли также как *z'er'ev'en'ski* в отличие от языка города – «чистого» русского или «чистого» белорусского:

C: *N'e, u nas nixto n'e yavoryc' čysta pa bielarusku. Dubroŭna, jašče ŭ Dubroŭn'e prak'idyvajucca ŭ star'ikoi b'elarusk'ija slovy, a ŭ nas ŭžo n'et..*

M: *A z'eđ vaš jak yavoryc'?*

C: *Tak jak i ja razyavaryvaju. Na m'ėsnam* (Боево, Дубровинский район).

Язык «города» пользуется, конечно, большей престижностью. Интересный в этом контексте вывод сделал Рышард Радзик, сравнивая языковую ситуацию Польши и Беларуси. В процессе миграции жителей из деревни в город в обеих странах можно наблюдать отказ от диалекта в пользу литературного языка. Но в отличие от Польши в Беларуси приходится выбирать между двумя литературными языками – белорусским и русским³.

3) Причины сужения сферы употребления белорусского языка связаны с тем, что русский язык в Беларуси является универсальным средством коммуникации⁴ (*pa rusku vs'e paŭimajut'* – Рясна, Дрибинский район) и языком официальной власти: *ja znaju što Lukašenka i na b'elaruskaj razyavaryvaje i na ruskaj mov'e, mn'e kažeccca tak [...]* (Рясна, Дрибинский район).

4) Ведущее место русского языка в немалой степени обусловлено культурным влиянием России и его доминированием в СМИ:

Eta ja vam skazaŭ... patamu što ŭ nas BT – naše na ruskom jazyk'e... b'elaruskaje t'elevižen'ne... a rađo – pa b'elaruski.. us'i peir'edačy na b'elaruskaj mov'e ...

A ješ'li intervju b'eruc' – kor'espond'enty na ruskoj, a pa b'elarusku atv'ečajuc', a pa t'elevižen'ni na ruskom jazyk'e idut' us'e p'er'edač'i.... A pačamu ja n'e znaju.... (Рясна, Дрибинский район).

5) Кроме того, русский является основным языком преподавания в школах и вузах. Потрясают данные о том, что в 1996 г. не был напечатан ни один белорусско-язычный учебник по точным предметам⁵. Функция языка науки возложена, таким образом, на русский язык. Все это вместе взятое приводит и к сужению использования белорусского языка в сфере быта. Здесь важно отметить роль государства, которое после референдума 1995 г., где был поставлен вопрос о предоставлении русскому языку статуса государственного, не только юридически узаконило двуязычие, но и представило дополнительные возможности русскому языку⁶. В ситуации столь сильного влияния русского языка, ослабляющего позицию белорусского, правительство, как представляется, должно было бы оказывать серьезную поддержку белорусскому языку.

Даже обычная логика подсказывает, что в стране, этнически почти однородной, официальным средством общения должен быть язык доминирующей нации (по данным переписи 1999 г., белорусы составляют 81,2% населения). Это осознавали и опрошиваемые нами жители:

Vo ŭ nas ješ'c' z Rasiji, dyk jany yavaruc' pa raš'ejsku [...] U Raš'iji tol'ki ŭčyl'i na roš'ejskam.. na ruskam jazyk'e, a ŭ nas ŭčyl' j rusk'i jazyk j b'elaruski j

n'am'eck'i... Ja ŭčyła j rusk'i jazyk j b'elarusk'i j n'am'eck'i... (Боево, Дубровинский район).

б) Доминирование русского языка в Беларуси имеет глубоко исторические корни. После III раздела Речи Посполитой в 1795 г. и присоединения к Российской империи объединенного государства Королевства Польского и Великого княжества Литовского на территории этнически белорусской в качестве языка российской администрации распространился русский язык.

После двадцатилетнего периода активного развития белорусского языка в начале XX в. в национально-языковой политике Советского Союза возобладала унифицирующая русификация. Советская идеология интернационализма, интенсивная индустриализация и урбанизация Беларуси, развитие массовой коммуникации, образование на русском языке – все эти факторы привели к доминации русского языка.

Конечно, белорусский язык за историю своего существования претерпел не только русское влияние. Значительное воздействие оказал на него и польский язык. Достаточно вспомнить Варшавский сейм, который запретил «просту мову» в канцеляриях Речи Посполитой (1696 г.) и ввел польский как официальный язык Великого княжества Литовского. На этом закончился период бурного развития старобелорусского языка, который тогда был под сильным влиянием польского как языка западной, латинской культуры, науки, религии. После «золотого» XVI в. старобелорусский язык был вытеснен из государственных учреждений деловым польским языком. Вместе с потоком польских мигрантов это привело к полонизации белорусско-польского пограничья.

Таким образом, белорусская культура и язык всегда находились на пограничье культур. Русское влияние, безусловно, оказалось сильнее польского. Прежде всего это вытекало из близкого родства белорусского и русского языков (как говорит народ: *b'elarusy, ukrajincy, rusk'ija – to adna krou* – Куртасы, Горковский район). Русская культура, за столетия проживания белорусов в одном государстве с русскими, оказала огромное воздействие на белорусскую культуру⁷, которое было усугублено фактором единого вероисповедания (православная церковь).

Русская культура, при высокой языковой и религиозной толерантности белорусов, способствовала созданию многих культурных ценностей в Беларуси. Но в становлении национального белорусского языка она – парадоксально – сыграла отрицательную роль. В этом и состоит, на наш взгляд, феномен Беларуси как страны пограничья.

Литература и библиография

Babiński, G. Pogranicze polsko-ukraińskie. Etniczność, zróżnicowanie religijne, tożsamość / G. Babiński. Kraków, 1997.

- Engelking, A. Śladami Józefa Obrębskiego po 60 latach. Raport z rekonesansu terenowego na Polesiu / A. Engelking. http://languages.miensk.com/Lang_Eu_As_Af/Indoeuropean/Westpalesian/engelking.htm
- Kłoskowska, A. Konwersja narodowa i narodowe kultury / A. Kłoskowska // *Kultura i społeczeństwo*. № 4. 1992.
- Radzik, R. Kim są Białorusini? / R. Radzik. Toruń, 2003.
- Sadowski, A. Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkańców /A. Sadowski. Białystok, 1995.
- Smułkowa, E. Białoruś i pogranicza. *Studia o języku i społeczeństwie* / E. Smułkowa. Warszawa, 2002.
- Smułkowa E. Badanie pograniczy językowych – uwagi metodologiczne / E. Smułkowa // *Gwary dziś*. 2. Regionalne słowniki i atlasy gwarowe. Poznań, 2003.
- Tematy polsko-białoruskie. Historia, literatura, edukacja / red. R. Traba. Olsztyn, 2003.
- Weinsberg, A. Naród wobec języka / A. Weinsberg // *Obóz*. II/1992.
- Григорьева, Р.А. Население белорусско-русского пограничья. Демография, язык, этническая идентичность / Р.А. Григорьева, Г.И. Касперович. Минск, 2004.
- Шевцов, Ю. Белорусы и русские: пространство и идентичность / Ю. Шевцов. *Русский вопрос – Россия и ее ближайшие соседи*. № 1. 2004.

Примечания

- ¹ В экспедиции принимали участие как молодые, так и опытные исследователи разных специальностей – филологи, этнологи, историки, социологи. Такой подход к изучению пограничья способствует целостному и (по мере возможностей) полному описанию специфики пограничья. Ср. также: Smułkowa, E. *Badanie pograniczy językowych – uwagi metodologiczne* / E. Smułkowa // *Gwary dziś*. 2. Regionalne słowniki i atlasy gwarowe. Poznań, 2003.
- ² Стоит вспомнить напр.: Radzik, R. *Kim są Białorusini?* / R. Radzik. Toruń, 2003; *Język a tożsamość na pograniczu kultur* / red. E. Smułkowa i A. Engelking. Białystok, 2000; Smułkowa, E. *Białoruś i pogranicza*. *Studia o języku i społeczeństwie* / E. Smułkowa. Warszawa, 2002; *Tematy polsko-białoruskie*. Historia, literatura, edukacja / red. R. Traba. Olsztyn, 2003 и др.
- ³ Radzik, R. *Kim są Białorusini?* / R. Radzik. Toruń, 2003. С. 137.
- ⁴ На основании опросов школьников, студентов и учителей Брестской и Гродненской областей Беларуси. Ср.: Яцкевич, С. Мова і этнакультурная тоеснась беларусаў на беларуска-польскім паграніччы / С. Яцкевич // *Język a tożsamość na pograniczu kultur*. Białystok, 2000. С. 23–26.
- ⁵ Ср. Radzik, R. *Kim są Białorusini?* / R. Radzik. Toruń, 2003, S. 93; Хурынович, А. Хачу вучыцца на сваёй мове / А. Хурынович // *Свобода*. № 52. 20.05.1997.
- ⁶ Ср.: Siarhieja Zaprudski *Polityka językowa w Republice Białoruś w latach 90-tych* // *Białoruś – trzeci sektor*. Naród, kultura, język, wyd. Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne – IDEE. Warszawa; Mińsk, 2002. S. 34–42. http://www.bialorus.pl/index.php?pokaz=polityka_jezykowa&&Rozdzial=polityka
- ⁷ Ср. также: Smułkowa, E. *Dwujęzyczność po białorusku: bilingwizm, dyglosja, czy coś innego?* / E. Smułkowa // *Białoruś i pogranicza*. *Studia o języku i społeczeństwie*. Warszawa, 2002. S. 421.

ПОСЛЕДНИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ: ЛЕШЕК КОЛАКОВСКИ*

Испытываешь странное чувство, встречая ранее абсолютно незнакомого человека, который всю твою жизнь был близок тебе. Он жил где-то рядом на этой земле, его книги выходили многотысячными тиражами и изучались в университетах, но в круге твоего чтения они отсутствовали и ты о нем ничего не знал.

Одна моя польская знакомая, перечисляя как-то в письме своих любимых философов, упомянула среди имен Ханны Арендт, Зигмундта Баумана, Канта и Аристотеля – Лешека Колаковского. Я удивился этому сопоставлению. Теперь я понимаю: мое удивление было связано с тем, что книги Лешека Колаковского не читались мной. Я много раз проходил в польских книжных магазинах мимо его «Главных направлений марксизма» (изданных на польском языке лишь в 2001 году!) и не останавливался.

Меня могло извинить разве лишь то, что на русский язык до настоящего времени не переведена ни одна книга этого великого и близкого мне мыслителя.

* * *

Рожденный в Радоме, на Мазовии, в 1927 г., Лешек Колаковский и сегодня похож на ребенка, лишённого комплексов и еще не знающего, что такое авторитет. Он требует ответа на самые простые вопросы, умеет увидеть вопрос в самом ответе и поставить под сомнение ответ.

* Kołakowski, L. Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań / L. Kołakowski. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2006.

Он был мальчиком двенадцати лет, когда нацисты штурмовали Польшу. «Я помню уничтожение Варшавского гетто, – пишет он в “Геноциде и Идеологии” (1978). – Я жил среди поляков, которые активно помогали евреям и каждый день рисковали собственной жизнью, пробуя спасти тех немногих, которые могли быть спасены от ада». После Второй мировой войны в 1945 г. Лешек Колаковски вступил в Польскую рабочую партию – ведь она сражалась с нацистами (!). В статье «Нацизм и коммунизм: в равной ли степени преступны» он напишет:

«Коммунизм был воплощением лжи, он был ложью монументальной, едва ли не возвышенной (Союз Советских Социалистических Республик – четыре слова – учетверенная ложь, как повторял вслед за Борисом Сувариным покойный Корнелиус Касториадис)... Коммунизм многие годы привлекал людей иной породы, чем были те, которых заморозил фашизм: он увлекал тех, кто действительно верил в человечество и представлял себе, что ярмо нищеты и безработицы скоро будет сброшено, а милитаризму, национальным и расовым преследованиям, ненависти, войнам – скоро придет конец...»¹

Лешек Колаковски изучал философию в Университете Лодзи и в Варшавском университете, где затем преподавал с 1950 до 1968 г. Хотя он вступил в академическую карьеру как ортодоксальный марксист, но после курсов в Москве для многообещающих интеллектуалов разочаровался в советской марксистской системе. Вдруг для него открылось, что коммунистическая власть тоталитарна в своей сущности, и что это каким-то образом связано с марксизмом. Сопротивление Лешака Колаковского марксизму выросло из его добросовестного анализа. Он – интеллектуал по преимуществу и поэтому все ставил под сомнение, а сомнение рождает критику.

В 1950–1960-е гг. Лешек Колаковски издал ряд работ по истории западной философии и религиозного сознания, но в это же время он стремился выявить основы гуманистического марксизма – книги «Kultura i fetysze» (1967) и «К марксистскому гуманизму» (1970). Парадоксально, но этот некогда искренний коммунист получил известность именно как анатом и критик тоталитаризма. Его тщательные исследования о происхождении и страшном наследии марксизма, изложенные в «Опусе винной бутылки» и «Главных Направлениях Марксизма», занимают почетное место в классической библиотеке философского и политического разочарования.

В 1953 г. Лешек Колаковски вступил в движение за демократизацию, которое подготовило восстание польских рабочих в 1956 г. Критический анализ сталинизма в работе «Чем есть социализм?» был первым текстом Лешака Колаковского, конфискованном цензурой. Однако в списках эта работа стала широко известной. В 1954 г. он был обвинен в «отклонении от марксистско-ленинской идеологии». Эссе 1959 г. «Священник и Шут», в котором Колаковски исследовал роль догматизма и

скептицизма в интеллектуальной истории, выдвинуло его на место интеллектуального лидера Польши. Однако его работы регистрировались в Индексе запрещенных авторов вплоть до 1981 г. и, конечно, не могли быть официально ни упомянуты, ни процитированы. В 1965 г. в этот список попала даже книжка «Не хотите ли вы развеселить расстроенного носорога?», написанная для маленькой дочки. Вместе с тем Лешек Колаковски был одним из самых популярных авторов польских подпольных типографий.

Речь Лешека Колаковского по случаю 10-й годовщины восстания 1956 г. послужила причиной его изгнания из ПОРП в 1966 г. В 1968 г. он был уволен с профессорской кафедры, «чтобы не формировать представления молодежи в манере, противной официальной идеологии государства», и вскоре был вынужден оставить страну. В 1970 г. Лешек Колаковски был избран профессором Колледжа Всех Святых в Оксфорде, где живет и поныне. Но он преподавал и в других западных университетах, включая МакГилл, Йельский университет, Университет Чикаго. В 1980-х оказывал поддержку и помощь Солидарности, способствуя освобождению Польши от коммунизма. С 1989 г. не раз бывал в Польше, а в 1996 г. сделал запись десяти коротких лекций по вопросам философии культуры, власти, терпимости, предательства, равенства, известности и неправды для польского телевидения. Затем они были изданы книжкой под названием «Мини-лекции по макси-проблемам».

Лешек Колаковски удостоен всех возможных наград, которые только может получить философ. Надо отметить, что он первым был представлен к премии John W. Kluge Prize за достижения в развитии гуманизма и социальных наук. Премия учреждена Библиотекой конгресса США, чтобы отмечать признанием дисциплины, не включенные в Нобелевскую премию. (В 2003 г. вознаграждение составило 1 млн дол. США.) В 2006 г. Лешек Колаковски был награжден польской медалью Святого Ежи. А 18 февраля 2007 г. стал лауреатом Иерусалимской премии за индивидуальную свободу в обществе. В свое время этой премии удостоивались Грэм Грин, Марио Льюса, Исайя Берлин, Хорхе Луис Борхес, Макс Фриш, Бертран Рассел. Многочисленные награды Лешека Колаковского – это тот редкий случай, когда человек при жизни удостоивается заслуженной славы.

* * *

Его биография самым непосредственным образом переплетена с библиографией. Она включает пьесы, моральные и теологические рассказы, множество книг и статей, посвященных Отцам Церкви, Паскалю, Бергсону, английскому эмпиризму, традиции позитивизма, истории религии, секуляризации, атеизму, проблемам актуальности религии...

Но главный интерес Лешека Колаковского – это история философии, прежде всего либерализм XVIII в., философия культуры и философия религии. Кроме фило-

софских текстов, он писал и художественные. Они, однако, близко связаны с философскими интересами автора и должны определяться как философские рассказы («Тринадцать рассказов о королевстве Лаилония», «Беседы с Дьяволом»). В этих рассказах Лешек Колаковски использует доступную и занимательную литературную форму, чтобы живо представить различные философские школы и доктрины, сталкивая их между собой. Рассказы отмечены изяществом стиля, интеллектуальным остроумием и несомненным литературным мастерством. Лешек Колаковски продолжил традицию, не слишком сегодня популярную, но сильную, к которой принадлежит Диккенс, Кэрролл, Честертон, Льюис... Она представляет собой выстраивание духовной основы, которая противостоит тьме, тоталитарной власти, варварству и злу. Дух уныния отступает перед странной надеждой, которую вселяют эти люди. Лешек Колаковски – один из них. В России таковыми были Мераб Мамардашвили и Александр Зиновьев. В сегодняшней Беларуси – режиссер Юрий Хоцеватский, иронизирующий над белорусской властью и ее персонажами в фильмах «Площадь» и «Обыкновенный президент».

За этой иронией стоит умение увидеть в огромной темной силе временное и смешное. Но для этого необходимо относиться к многим вещам очень серьезно и отстаивать свою позицию. Честертон в «Великане» писал об этом так:

«...Я забрел недавно в сад между Темплом и набережной. Сумерки сменялись тьмою. Я сел на скамью, спиной к реке, и надо мной, словно злой дух, нависли угол и тяжкий фасад здания, которое стояло по другую сторону улицы. Сядь я на ту же скамейку утром, я увидел бы совсем иное. При свете мне, наверное, показалось бы, что здание довольно далеко, но тогда, в полумгле, стены просто навалились на меня.

Никогда еще я не ощущал так сильно того, что порождает пессимизм в политике: безрадостной высоты земных высот. Безымянный столп силы и богатства возвышался надо мной, словно неприступная скала, на которую не взберется ни один смертный. Я знал, что его нужно свергнуть и что это не по силам бродяге журналисту, вооруженному тросточкой...

Не странно ли, что в великих битвах часто побеждали побежденные? Те, кого побеждали к концу боя, торжествовали к концу дела. Крестовые походы завершились поражением христиан; но в упадок пришли не христиане, а сарацины. Тяжкая волна мусульманской мощи, нависшая над городами Европы, разбилась вдребезги и больше не вернулась. Потеряв Иерусалим, крестоносцы спасли Париж.

То же самое можно сказать об эпической битве XVIII в., которой мы, либералы, обязаны своим символом веры. Французская революция погибла, и короли вернулись по земле, мощенной телами Ватерлоо. Революция проиграла

последнюю битву, но выиграла то, ради чего началась. Мир больше не был прежним. Никто не мог уже бездумно попирать бедных, словно мостовую.

Бедные, алмазы Божьи, остались для многих камнями мостовой, но никто не забудет теперь, что камни умеют летать. Может быть, мы еще увидим при жизни, как летают камни. Но сейчас я говорю лишь о том, что побежденный побеждает почти всегда. Спарта убила Афины, однако Афины воскресли, а сама она скончалась от ран. Буры проиграли англо-бурскую войну и выиграли Южную Африку.

Вот и все, что можем мы сделать, когда сражаемся с сильнейшим. Он убьет нас, но мы нанесем ему незаживающую рану. Словно камушек, попавший под колеса поезда, мы сотрясем и поразим хоть на миг невиданную силу и бездумную невинность зла. А это немало. Мученикам и преступникам Французской революции довольно того, что они обнажили навеки тайную слабость сильных.

Благодаря им проснулся и больше не заснет в усыпальнице жалкий трус, обитающий в сердцах королей»².

* * *

Лешек Колаковски одинаково нов как для Польши, так и для Беларуси. И он удивительно актуален. Некоторые его работы только-только появляются на польском. В 2006 г. вышла книга «Может ли дьявол быть спасен и еще 27 эссе» (издана на английском языке в Лондоне в 1982 г., на польском публиковалась в подпольном издательстве «KRAĞ», Warszawa, в 1983 г.).

Книга содержит 27 текстов, написанных в 1967–1981 гг., в то время, когда в Польше автора не печатали.

Она названа собранием проповедей. В этом проявление характерного для Лешка Колаковского юмора. Излишняя серьезность сама скоро становится смешной. Ироничное обращение к серьезным вещам сближает Лешка Колаковского с английской традицией, в которой умеют говорить серьезно и иронично одновременно. Свои статьи автор называет проповедями еще и потому, что проповедь не открывает нечто новое, она лишь представляет новыми те обстоятельства жизни, участником которой ты сам являешься. Жанр проповеди позволяет автору иронично относиться к самому себе, чтобы максимально серьезно повествовать о предмете разговора.

Книга состоит из четырех «кругов»: культуры, христианства, социализма и Польши. Все они вполне автономны, равно как и автономны составляющие их статьи; связанными они оказываются лишь контекстами и личностью писателя (и читателя). Так польское дело объединяется с делом веры, культуры и мысли. В принципе, как настойчиво повторяет Лешек Колаковски, в этом мире нет нейтральных вещей, которые не затрагивали бы нас. В одной из его «проповедей» нос Клеопатры

связывается с современными культурными проблемами, чтобы разорвать круг причинности и несвободы.

Лешек Колаковски передумывает все то, что случилось в XX в. в очень широком контексте, в котором Адам оказывается едва ли не нашим современником. Его рафинированные и прозрачные статьи создавались на протяжении двадцати лет и в них нет ничего «сложного», но именно поэтому они делают читателя соучастником происходящего (ставят его в ситуацию не-алиби).

В книге скрыта еще одна структура, никак не обозначенная, но обеспечивающая ее единство. Она образуется тремя сокровенными для автора темами. Первая – марксизм, вторая – интеллектуалы, третья – Европа.

* * *

В названии книги упоминается Дьявол. И кажется, что Дьявол для Лешка Колаковского вовсе не абстракция и даже не метафора. Это реальная сила истории, захватившая Европу. В «проповедях» он не контекст зла, а само зло, которое обозначается в одном восточнохристианском акафисте как «тлитель смыслов», как абсолютная ложь. Зло разъедает смысл бытия, превращает его в пыль и тоску. Тогда встает вопрос: возможно ли выпутаться из обстоятельств, которые кажутся непреодолимыми. И еще это нравственный вопрос для каждого человека, сталкивающегося со злом.

Для Лешка Колаковского вопрос о признании зла в этом мире – очень важный, и он считает, что разрешение проблемы зла является основополагающим для европейской цивилизации. В статье «В поисках варвара» Лешек Колаковски формулирует это следующим образом:

«Осуждение мира и аскетический бег от его искушений, с одной стороны, и обожествление мира и забвение зла, с другой стороны, – между этими полюсами христианская мысль бодрствует постоянно, и хотя легко найти библейские цитаты для обоснования каждого из них, главное направление западного христианства упорно искало формулу, которая позволила бы отбросить фатальный выбор между ними. Представляется, что в конце концов Европе удалось найти в христианстве ту меру, которая ей требовалась, чтобы развить свои научные и технические достижения: сохранить сомнение относительно ценности физического мира, но не до такой степени, чтобы окончательно его осудить как неизгладимое место зла, а чтобы увидеть в нем противника, которого можно победить».

Лешек Колаковски постоянно задается вопросами, от которых многим из нас хотелось бы уйти.

«Задавая вопрос о том, что является добрым, мы, во-первых, обычно проводим различие – и это является одним из немногих пунктов, которые в этике не возбуждают споров, – между добром в инструментальном или общепринятом значении (как «пенициллин хорошее лекарство для лечения воспаления легких») или «электрические обогреватели обычно хуже газовых») и тем, что является добрым самим по себе, независимо от результатов; этические теории, как и нравственные правила, касаются добра в этом смысле, т.е. того, что воспринимается добром само по себе».

Личная вовлеченность и невозможность уклониться от ответа – в этом весь Лешек Колаковски. Примером тому служит хотя бы название статьи: «Может ли Дьявол быть спасенным?» Это вопрос без ответа, но он обеспечивает беспокойство мысли, которое и есть сущностью Европы.

* * *

Лешек Колаковски непрестанно занят, подобно другому великому либералу, лорду Актону, сбором сведений о традиции; он проводит реконструкцию мысли и наблюдает за ее прорастанием в истории. Но вдруг останавливается в самых неожиданных местах, чтобы полюбоваться на ее отдельные проявления, как это он делает в статье «Кант и угроза цивилизации». Лешек Колаковски имеет замечательную особенность, ухватившись за определенную мысль, одновременно выразить все существо доктрины, которую он обсуждает. Без сомнения, это – проявление таланта, но также указание на огромную работу по просеиванию и синтезированию материала, в результате чего появляется книга или статья. Даже его академические труды увлекают читателя в активное собеседование. Отдельно необходимо упомянуть о языке Лешака Колаковского – он прозрачен и, думаю, понятен даже «неинтеллектуалу»; это тот язык, который Кристофер Лэш называл обычным, противопоставляя его «надземному словотоку деконструкции»³.

Лешек Колаковски тщательно анализирует самые сложные вопросы морали, проблему принуждения к любви в христианстве, противоречия в существовании различных этик и их принципиальную неverifiedируемость, множество пониманий того, что является свободой, миром и справедливостью. Он повторяет, что важным является не приведение всего разнообразия к единообразию, а обеспечение процедурной справедливости. Никакая идеология не должна объясняться с моральных позиций и занимать положение над моралью. Правила морали являются универсальными, и если они касаются частной жизни, то касаются и жизни социальной, между двумя этими сферами нельзя провести четкой границы. Из исторического знания и философии истории не вытекает никакого морального предписа-

ния. История не легитимирует мораль. К примеру, если в прошлом Декалог занимал периферийное значение, то это не значит, что мы можем игнорировать Декалог.

* * *

«Воспитание к ненависти, воспитание к достоинству» – думаю, является одним из самых значительных текстов по этике, созданных в Восточной Европе. В нем разбирается главный для христиан вопрос и, представляется, не менее важный для либералов и гуманистов: как можно бороться, сражаться до смерти, но при этом – не ненавидеть? Лешек Колаковски говорит о том, что поскольку ненависть – это часть зла, то она не может быть конструктивной. Есть иные способы сопротивления, не черпающие энергию в ненависти. И поэтому в наших силах жить без ненависти и сохранять достоинство.

«Мы живем в мире, наполненном ненавистью, завистью и жаждой мести, в мире, который – не только вследствие убожества природы, но и по причине гаргантюазии нашей живоглотности, – принадлежит к тому злу, о котором можно сказать, что оно не ликвидируется никакими институциональными преобразованиями. Если это так, то в этом случае мы свободны – без страха быть смешными, – допустить, что каждый из нас, когда в себе это зло приуменьшит, уменьшит его и в мире, и тем самым увеличит для себя неуверенную и хрупкую надежду на более достойную жизнь на нашем корабле дураков».

Лешек Колаковски на собственном примере показывает, что это возможно. Он вспоминает отказ Томпсона садиться за один стол с Робертом Сессилом, потому что тот когда-то работал в британской дипломатической службе: «О благословляемая невинность! Вы и я, оба были активны в наших коммунистических партиях в 40-х и 50-х годах, а это означает, что, независимо от наших благородных намерений и очаровательного невежества (или отказа избавляться от невежества), мы поддерживали, в пределах наших скромных возможностей, режим, основанный на массовой рабской силе рабочих и полицейском терроре, хуже которого не было в человеческой истории. Вы думаете, что найдется много людей, которые отказались бы сидеть с нами за тем же самым столом на этих основаниях?»⁴ В самых разных обстоятельствах может оказаться, что история сошлась на тебе – на совсем маленьком человеке – и все, что ты можешь, – это постараться не поддаться злу в самом себе. Больше от тебя ничего не требуется.

* * *

Лешек Колаковски вовсе не думает, что все могут быть героями. Он обращает внимание на удивительный феномен пророков, помогающих обычным людям сохранять верную ориентацию. Лешек Колаковски сам из таких пророков, объявляющих правду. А правда неразрывно соединена с достоинством. Когда пророки замолкают – правду начинают говорить камни. Пророки появляются в самых неожиданных местах. Лешек Колаковски удивляется: СССР и Германия стремились уничтожить польскую элиту (и им это почти удалось), но польская культура устояла. Еще больше он удивляется тому, как в разрушенной русской культуре оказалось возможным создание шедевров мирового уровня.

Это действительно чудо, которое происходит на глазах каждого поколения. И об этом он отдельно рассуждает в статье «О так называемом кризисе христианства». В постсоветских странах очень часто интеллектуалы не желают «мараться» о Церковь, которая им представляется исполненной всех зол и пороков и не выполняющей той революционной роли, которую должна выполнять (по мысли интеллектуалов). Так, к примеру, в Польше в конце XX в. Церковь снова заняла очень консервативную позицию, не нравящуюся либералам. Но это «не нравится» – только видимость, поскольку интеллектуалы не смотрят на Церковь изнутри самих себя.

«Христианство является проявлением людской слабости и нищеты, и нет смысла доказывать, что существует или может существовать “христианство протемеевское”, т.е. что можно согласовать христианство и надежду на спасение человечества... Для реальности христианские основания являются сомнительной ценностью... Предназначением христианства не был “справедливый социальный строй” и вообще никакой “строй” в целом. Христос нам советовал, чтобы мы уничтожение зла начинали с самих себя, а не с уничтожения иных людей, которых представляем – основательно или нет – злыми. Быть христианином было всегда трудным делом потому, что христианство требует радикального отличия самого себя от собственного зла».

* * *

В статьях «Сакральность в светской культуре» и «Человек не живет одним разумом» (1991) Лешек Колаковски утверждает, что «человечество никогда не сможет избавиться от потребности в религиозной самоидентификации, поскольку всегда останется место для вопросов: кто – я, откуда пришел, к чему устремляюсь, за что ответственен, что означает моя жизнь, как я окажусь перед смертью?». Религия для него выступает главным событием человеческой культуры. Религиозная потребность не может быть разобщена с культурой «рационалистическим колдовством». Человек не живет одним разумом. Тенденция полагать, что все человеческие про-

блемы имеют техническое решение, – неудачное наследование эпохи Просвещения. Лешек Колаковски замечает, что наша преданность идеалу неограниченного прогресса, как это ни парадоксально, имеет опасное моральное последствие, которое тесно связано с тем, что он называет «потерей священного». «С исчезновением священного, – спрашивает он, – какие существуют пределы совершенствованию, которое может быть достигнуто светскими путями?» Одна из самых опасных иллюзий нашей цивилизации – иллюзия, что нет никаких пределов изменениям, которым человек может подвергнуться, что человеческое общество – «в принципе» бесконечно гибкая вещь и что отрицать эту гибкость и это совершенствование означает отрицать полную автономию человека и, таким образом, отрицать непосредственно самого человека.

* * *

Тема марксизма объединяет множество интересующих Лешака Колаковского более мелких вопросов. В введении в «Мои правильные представления относительно Всего» он пишет:

«Коммунизм не был ни сумасшедшей фантазией нескольких фанатиков, ни результатом человеческой глупости или низости; это была реальная, очень реальная часть истории двадцатого столетия, и мы не можем понять эту историю, не понимая коммунизма. Мы не можем избавиться от этого привидения, говоря, что это была только “человеческая глупость” или “человеческая продажность”».

Лешек Колаковски постоянно переосмысливает марксизм, но не тот, который можно изучать по книгам К. Маркса и Ф. Энгельса, а историческое движение, захватившее огромные массы людей и целые страны и принесшее нескончаемые бедствия.

С позиций марксизма на все существует своя причина. Эта причина лежит в основании всех действий, которые легитимирует революция. Однако многие причины происходят не из прошлого, когда что-то уже случилось, а из будущего, когда чему-то еще предстоит случиться. Вопросами о причинах и следствиях занимается Лешек Колаковски и в этой книге (в «Комплексе Эдипа» и, в особенности, в «Носе Клеопатры»). Всюду говорят о комплексе Эдипа, как об основании всех культурных явлений, но что нам до Эдипа в тот момент, когда мы переживаем красоту, и что нам дает знание о ее основах, когда мы переживаем? Или возьмем нос Клеопатры. Его не объяснишь совокупностью всех предшествующих факторов. Как нельзя объяснить появление «Короля Лира» всей историей Англии. А значит, исторические события, на логику которых уповаet марксизм, не так уж необратимы и предопределены.

Алексей Лосев советовал большевикам вовсе отказаться от культуры, поскольку культура несовместима с принципом материализма и законом причинности.

В статье «Воспроизводство культуры и забвение» Лешек Колаковски обобщает эти проблемы вопросами. Как воспроизводится культура и как мы отличаем инварианты от мутаций? Можно ли применять к культуре понятие развития? Длительность традиции – чем она обеспечивается и как осуществляется? И отвечает. Репродукция возможна лишь при том условии, что существуют инварианты, а не только инстинкты. Нормы логики не просто наследуются, они требуют труда для овладения ими. Культура также требует усилия. И особенно это касается морали и ее основной категории – вины. Мораль – сердцевина культуры. А вина – сердцевина морали. Культура и нравственность причинно не обусловлены, а значит, связаны со свободой и поэтому оказываются в оппозиции к коммунизму и марксизму.

Следующий момент – это отношение к судьбе. Для Лешка Колаковского она – бесконечная потенциальность, приводимая в движение усилием человека, но при этом человеком не управляемая. Для неомарксиста судьба – это то, что следует игнорировать. У случая всегда есть причина. Для Бурдые это «поля», которые разрастаются до универсальных факторов и определяют жизнь людей – с помощью этих «полей» можно описать любое явление на этом свете. Так достигается частичная правда, являющаяся ложью.

* * *

Лешек Колаковски более всего обращает внимание не на зверства коммунистического режима, которые, на первый взгляд, являются его самой существенной чертой, а на его лживость и презрение к закону. Именно это отличает обычный деспотизм от его тоталитарной версии.

«Закон может ввести драконовские наказания за незначительные нарушения, не будучи по определению тоталитарным. Характерным для тоталитарного закона является использование таких формул, которые ввел Ленин: люди могут быть казнены только потому, что они представляют иной класс. Этого оказывается достаточно, чтобы они «объективно отвечали за преступления всей буржуазии». Поэтому правительство могло казнить любого. Это означало, что нет такой вещи, как закон; и не то чтобы уголовный кодекс был суров, он просто не имел никакого смысла, кроме смысла своего названия».

Другими словами, волюнтаризм коммунистического правления – это прежде всего стремление к полному контролю над жизнью. Ленин утверждал, что социализм подразумевает «держатъ счет всего». Все было подчинено регулированию сверху, потому что ничто не имело значения, кроме диктатуры партии. В этом

смысле в марксизме идея ценности превращается в абсолютную целесообразность. Для коммуниста нет такой вещи, как беспристрастность или объективность, потому что нет такой вещи, как независимая ценность. Ничто не имеет врожденного значения, поскольку все приобретает ценность в зависимости от своей функции в безличном движении утопии.

Маркс говорил о диктатуре пролетариата. Но что он подразумевал под «диктатурой»? Объяснил это Ленин. «Диктатура, – написал он в 1906 г., – означает неограниченную власть, основанную на силе, а не на законе». И добавил: «научное понятие “диктатура” не означает ничего большего, чем власть, не ограниченная никаким законом, абсолютно не ограниченная никаким правилом вообще и базируемая непосредственно на насилии»⁵. В 1917 г. Ленин получил шанс показать миру, как эта теория будет действовать на практике. Лешек Колаковски отмечает: «Он создал систему, в которой, в зависимости от прихоти партии или полицейской власти, любая критика могла быть расцененной как контрреволюция, а ее автора могли подвергнуть заключению или смерти». Важность террора заключалась в том, что он был существенным компонентом в утопической программе революционного переустройства общества. Ленин в 1922 г. говорил, что суды не должны отменять террор, они обязаны обосновывать его необходимость и легализовать как принцип. Сталин однажды заметил, что смерть человека – трагедия, но смерть миллиона – статистика. Он забыл добавить, напоминает Лешек Колаковски, что для коммуниста нет такого понятия, как человек.

* * *

Если закон причинности является определяющим, то всегда существует соблазн переписать историю заново, заявив, что предшественники ее «извратили», «неправильно поняли» и т.д. Закон причинности провоцирует избирательный подход к историческим событиям и сознательное беспамятство. Это парадоксально, но к истории обращаются чаще всего именно те, кто не хотел бы вынести из нее какой-либо урок. Такова позиция сегодняшних наследников коммунистов, пытающихся реабилитировать марксизм и коммунизм в Восточной Европе как часть нашей истории! Лешек Колаковскому составило много труда разобраться с таким изворотливым подходом, исключаяющим критику. С 1950-х гг. он постоянно утверждал, что у сталинизма марксистские корни, что марксизм нельзя отделять от сталинизма. В «Марксистских корнях сталинизма» Лешек Колаковски пишет, что, несмотря на претензии марксизма быть «научным учением» (ярким примером этой «научности» является утверждение Энгельса об объективности социальных законов, которые он сравнивал с геологическими отложениями), марксизм оказался никуда не годным как инструмент социального понимания и тем более – прогнозирования. Лешек Колаковски указывает, что теория Маркса изначально была предназначена для раз-

ложения ее на «ряд лозунгов, которые должны были оправдывать и прославлять коммунизм и неизбежный его спутник – рабство».

Все основные предсказания Маркса оказались ложными. Маркс утверждал, что общества, основанные на рыночной экономике, испытают растущую поляризацию классов (и исчезновение среднего класса). Однако современные общества с рыночной экономикой наглядно демонстрируют, насколько Маркс ошибался. Он предсказывал рост отчуждения и обнищания рабочего класса в капиталистических обществах. Но случилось нечто прямо противоположное. Лешек Колаковски отмечает, что во втором издании «Капитала» Маркс обновил статистику, но только не ту, которая касалась заработной платы рабочих; поскольку эти данные, если бы они были обновлены, противоречили бы всей его теории. А еще Маркс предсказывал неизбежную революцию пролетариата. Это – главное положение марксизма. Но в истории не случилось никаких пролетарских революций. Большевиcтская революция, как указывает Лешек Колаковски, «не имела никакого отношения к Марксову пророчеству». Ее движущей силой не был конфликт между индустриальным рабочим классом и капиталом, она совершалась под лозунгами, которые не имели социалистического, не говоря уже о марксистском, содержания: «Мир рабочим, земля крестьянам». Маркс пророчествовал, что в капиталистической экономике конкуренция неизбежно уменьшит величину прибыли и в конечном счете (весьма скоро!) экономика окажется в кризисе и капитализм разрушится. Однако, если посмотреть на капиталистические экономические системы за последние сто пятьдесят лет (с тех пор как Маркс написал эти строки), то без труда можно заметить, что прибыль нигде не исчезла. Маркс считал, что экономические системы капитализма будут препятствовать техническому прогрессу, но верным оказалось прямо противоположное. Марксизм был настолько неправильным, говорит Лешек Колаковски, насколько вообще теория может быть неправильной. А влияние марксизма было обусловлено идеей «самообожествления человечества», что и подтвердила практика его реализации. Вот почему Лешек Колаковски неизменно называет марксизм «фарсовым проявлением человеческой неволи».

«Влияние, которого марксизм достиг, далеко от того, чтобы быть результатом или доказательством его научного характера; оно почти полностью обусловлено пророческими, фантастическими и иррациональными предположениями. Марксизм – доктрина слепой веры в то, что рай универсального удовлетворения ждет нас за ближайшим углом. Почти все пророчества Маркса и его последователей оказались ложными, но это не нарушает духовной веры в него верующих, как это можно наблюдать и на примере хилиастических сект. Марксизм выполняет функцию религии, и его эффективность имеет религиозный характер. Но на самом деле он является карикатурой, ложной формой

религии, поскольку представляет эсхатологию как научную систему, которой религиозная эсхатология не может быть».

Марксизм притягательно действовал не столько на рабочих, сколько на образованные элиты. «Одна из причин популярности марксизма среди образованных людей, – отмечает Лешек Колаковски, – в том, что в упрощенной форме он очень прост для понимания». Подобно марксизму, гегельянство, дарвинизм или фрейдизм также предлагали «один ключ ко всем замкам» философии, что создавало иллюзию универсального объяснения всех проблем мироустройства.

* * *

Особая тема для Лешака Колаковского – это заигрывание с марксистским движением интеллектуалов и популистов. Все страшные катаклизмы в XX в. были инициированы интеллектуалами, которые с воодушевлением приходили в политику, вооруженные той или иной социальной теорией. Лешек Колаковски подходит к проблеме интеллектуалов иначе, чем это делает, к примеру, Фуко. Он не рассматривает знание как источник власти, а власть – как фактор производства знания. Он индивидуализирует понятие «интеллектуалы», задавая вопрос не только о процессе производства знания, но и о роли в этом производстве отдельного человека. Вместе с тем его интересует, чем знание отличается от идеологии, на что опирается объективность, как свобода правды зависит от влияния на нее интересов различных сообществ и групп.

В статьях «Революция как прекрасная болезнь» и «О революционном духе» Лешек Колаковски замечает, что мы забываем про роман между западной интеллигенцией и массовым убийцей, которому эта интеллигенция потворствовала. И есть повод думать, что это потворство не является случайным, а составляет особенность марксизма.

«Коммунизм многие годы привлекал людей иной породы, чем те, которых заморозил фашизм: он увлекал тех, кто действительно верил в человечество, и представлял себе, что ярмо нищеты и безработицы будет сброшено, а милитаризму, национальным и расовым преследованиям, ненависти и войнам скоро придет конец.

Все эти иллюзии, какими бы фантастическими они ни казались, имели свои последствия. Именно благодаря им в чреве коммунизма могли родиться его противники и критики. Прославленное высказывание Игнацио Силоне о том, что решающий бой разгорится между коммунистами и бывшими коммунистами, было, наверное, сильным преувеличением. Тем не менее бывшие коммунисты в самом деле сыграли существенную роль в процессе, который подорвал систему

изнутри и вызвал ее окончательное падение. Другое проявление слепоты – западные “попутчики, совершавшие паломничества” в Советский Союз до и после войны и восхвалявшие его. (Ничего подобного не происходило в отношении нацистской Германии.) Эти паломники в царство коммунизма способствовали утверждению лжи (хотя были и исключения: Антон Цилига, Панаит Истрати, некоторые польские писатели). Зато многие коммунисты, которые на себе испытали ложь и преступность коммунистической системы, успешно с ней боролись. Их голос был услышан и отразился широким эхом благодаря именно их прошлому».

Дальше Лешек Колаковски поясняет: это заигрывание не только с марксизмом, это заигрывание со злом. За интеллектуальными играми скрывается подлость, безответственность, отчаяние и потакание лжи. Представляется, что это весьма актуально для Беларуси, в которой заигрывание с марксистско-сталинским прошлым встраивается в систему формирования нации: возрождаются памятники Дзержинскому, стоят на площадях белорусских городов памятники Ленину, продолжается празднование советских праздников. И если люди могут согласовать в своих головах празднование Рождества и Октябрьской революции, 23 февраля и Пасху, то стоит, наверное, задуматься, что творится в головах этих людей. Лешек Колаковски в статье «В поисках варвара» пишет:

«Также трудно себе представить, каким образом, исповедуя ценности духовной свободы, можно оставаться наследником Ленина и Магомета.

Однако можно представить, что дело свободы вообще утратит свое значение и какое-то общество в будущем станет полностью тоталитарным с одобрения своих граждан. Тогда, очевидно, его потомки будут наследниками Ленина, но не Вашингтона. Кратко говоря, воображать, что внуки соединят все несогласные между собой традиции в гармоническую целостность, что будут одновременно пантеистами, теистами и атеистами, либералами и сторонниками тоталитаризма, энтузиастами насилия и противниками насилия, – это значит строить в воображении мир, который не только превосходит нашу способность воображения и наши пророческие дары, но в котором никакой живой традиции уже не останется; это значит, что они будут варварами в самом непосредственном значении этого слова».

Быть может, в Беларуси сегодня и происходит та история, которую Лешек Колаковски только воображает в книге.

Интеллектуалы в Восточной Европе быстро включили в свой круг чтения неомарксистов, но оставили без внимания либеральную традицию, того же Лешака Колаковского. Борис Гребенщиков еще в 1970-е гг. пел:

Иванов на остановке.....
И ему не слиться с ними,
с согражданами своими,
у него в кармане – Сартр,
у сограждан в лучшем случае – пятак.

Сегодня «Сартр» в Восточной Европе оказывается способом уйти от социальной реальности и ответственности за нее. Эта любовь к французским и немецким неомарксистам очень многое нам объясняет. Впрочем, на место неомарксизма в Восточной Европе легко подставляется любая философия или идеология, которая не несет моральной составляющей и не формулирует перед человеком неудобные вопросы. Это может быть национализм, нацизм, фашизм, евразийство и пр. Даже христианство или либерализм перетолковываются таким образом, чтобы удалить из них личностное измерение. Кстати, в Восточной Европе интеллигенция демонстрирует даже не индивидуализм, а всего лишь одиночество. Лэш говорит об этом как об отсутствии товарищества, дружбы и подлинных неформальных социальных связей. Жак Эллюль еще в 1965 г. заметил, что революция подменяется бунтом, в котором невозможно ставить определенные цели и тем более их добиваться⁶. Бунт – выражение слепой силы недовольства и протеста, лишенный созидательной основы и какого-либо плана. И как бы все это ни скрывалось под коллективистской риторикой – факт остается фактом.

Лешек Колаковски пишет:

«... Несмотря на крах Советского Союза, марксизм все еще стоит изучать, и не в последнюю очередь потому, что его идеи продолжают вариться, как в кофеварке, в мечтах различных утопистов. (Вы не должны идти за этим в Китай или на Кубу: достаточно бросить взгляд на все более и более розовый и авторитарный цвет Европейского союза.)»

Лешек Колаковски позволяет ощутить физическую реальность таких понятий, как покаяние и труд по отделению себя от зла. К тому же он называет инструменты, позволяющие это сделать, и указывает на социальные последствия кооперации со злом. В статье об аморфности новых левых из 1960-х Лешек Колаковски отмечает, что, хотя

«...идеологические фантазии этого движения... были всего лишь бессмысленным выражением прихотей испорченных детей среднего класса и экстремисты среди них были фактически неотличимы от фашистских головорезов, хотя движение действительно выражало глубокий кризис веры в ценности, которые вдохновляли демократические общества в течение многих десятилетий.

...Новый левый взрыв академической молодежи был агрессивным движением, которое легко создало себе словарь из марксистских лозунгов: освобождение, революция, отчуждение и т.д. Кроме словаря, его идеология имеет не много общего с марксизмом. Это “революция” без рабочего класса, это ненависть к современным технологиям, образованию, специализированному знанию – и культ примитивных обществ».

Интеллектуалы Восточной Европы, духовно близкие новым левым, выстраивают свою риторику как риторику «против»: против глобализации, США, ЕС... И в конце концов они оказываются против свободы и цивилизации. Один из таких интеллектуалов пишет:

«В Рождество, Новый год и Крещение Господне с особой остротой понимаешь: мы – не они. Мы иные. И даже если мы будем обезьянничать, чтобы походить на них, мы будем похожи не на них, а на обезьян.

На самом деле, это счастье, что Украина – не Европа. Что она никогда Европой не была и, даст Бог, Европой не станет.

Да и никакой Европы на самом деле не существует. Есть Западная Европа (с ее “окраинами” – Центральной Европой, США и Латинской Америкой) – наследница Рима языческого, Рима латинского и империи Карла Великого. Есть Восточная Европа – наследница Константинополя и византийской традиции.

А просто “единая Европа” – это мечта, симулякр, несуществующий виртуальный образ, используемый в пиаре и пропаганде, – для “развода” лохов, у которого никогда не было никакого прототипа»⁷.

Лешек Колаковски говорит, что мир, в котором живет интеллектуал, далеко не сплошь рационален, что в нем огромное место занимают причинно необусловленные культура и нравственность, а потому никто наперед не знает, в чем правильный выбор. Но в любом случае этот выбор определяется нравственной, а не интеллектуальной сущностью человека. В статьях «Как быть консервативно-либеральным социалистом» и «Введение к понятию социальной демократии: права человека против демократии» Лешек Колаковски обосновывает позицию ответственного гражданина, показывая относительность маркеров «консерватизм», «либерализм», «социализм» по отношению к гражданскому, нравственному и личному поступку.

* * *

Еще одна важная для Лешака Колаковского тема – Европа. Она объединяет собой всю книгу, но является ведущей в статьях «Пророчества лаика», «Самоотравле-

ние открытого общества», «Свобода и свободы», «Тезисы о надежде и безнадежности», «Польское дело», «О нас самих», «Попытка понимания», «Европоцентризм».

Для Лешека Колаковского понятие «Европа» прежде всего обозначает положительное социальное действие.

И он снова и снова обращается к этому понятию, открывая его новые смыслы.

Лешек Колаковски понимает европоцентризм как синтез и процесс взаимодействия, в том числе и с самим собой, но при этом самого себя ставя под сомнение. Отрицание европоцентризма рассматривается Лешек Колаковским как отказ от задачи по взаимодействию культур и их синтезу. Все (и прежде всего Хайдеггер) говорят: мы потеряли деревню – и желают возвращаться в деревню, – но есть ли нам куда возвращаться? Лешек Колаковски говорит, что нам незачем куда-то возвращаться, пока у нас есть наш дом – Европа.

Европа для Лешека Колаковского представляется единственной возможной формой цивилизации, основанной на христианстве. Она объединяет все, что ему бесконечно дорого. Без этого понятия для него тускнеет как история, так и ее перспективы.

В философии Лешека Колаковского Европа противостоит марксистскому тоталитаризму. В «Самоотравлении открытого общества» он пространно рассуждает об антиномиях либерализма, которые окружали его во время «холодной войны» и стали еще более актуальными сегодня, когда Восточная Европа сталкивается с формированием авторитаризмов, выстраивающих себя из элементов коммунистических систем, а Западная Европа стоит перед началом моральной войны с фундаменталистским исламом. Защищая европейские ценности, Лешек Колаковски говорит, что продолжение традиции либеральной демократии зависит не столько от длительности существования ее учреждений, сколько от «веры в ценность этих учреждений и широко распространенного желания защитить их».

«Открытость», которую либеральное общество справедливо лелеет, – не праздная открытость ко всем точкам зрения, это не «нейтральная ценность». Открытость нуждается в «Нет», нельзя говорить «Да» всему приходящему. Европейское общество, как каждое общество, основано на положительных ценностях – правовых нормах, уважении к индивидуальной и религиозной свободе, разделении церкви и государства. Чтобы обладать роскошью свободы, следует говорить «Нет» тем движениям, которые используют свободу лишь для того, чтобы отменить ее. «Порядок должен громко провозглашать и настойчиво реализовывать свои фундаментальные ценности. Нет ничего удивительного или возмутительного в том факте, что в пределах свободного общества к защитникам и к врагам его основных принципов демонстрируется разное отношение».

* * *

Свобода неразрывно связана с признанием пределов человека, которым только и может быть обусловлено наличие сакрального. В основаниях Европы, утверждает Лешек Колаковски, лежит не технологическая, а духовная природа. В «Отчуждении Разума» (1966) он критикует позитивизм за «попытку превратить науку в самостоятельную деятельность, которая исчерпывает все возможные способы рационального обустройства мира». Эти мудрые слова подходят и для эпохи, колдующей над невиданными ранее технологическими инновациями: клонированием, генной инженерией и прочими фаустовскими искушениями. Можно гордиться «открытостью» и приверженностью к либеральным идеалам, но необходимо понимать, что все это является только образом Европы, если не защищается и не отстаивается в реальной действительности. Лешек Колаковски напоминает нам, что без обязательств по отношению к ценностям как таковым их легко извратить своекорыстной пользой и утрировать пассивной праздностью. Это замечание по своему значению, быть может, не уступает героическому сражению Лешака Колаковского с марксизмом.

* * *

Дух уныния отступает перед странной надеждой, которую вселяют некоторые люди. Лешек Колаковски – один из них.

Литература

- Szkice o filozofii katolickiej (Sketches on Catholic Philosophy). Warsaw, 1955.
Klucz niebieski albo Opowiesci budujace z historii swietej zebrane ku pouczeniu i przestrodze (The Key to Heaven, Or Moral Tales from Sacred History Chosen for Instruction and Warning). Warsaw, 1964.
Swiatopoglad i zycie codzienne (Ideology and Everyday Life) (philosophical essays). Warsaw, 1957.
Notatki o wspolczesnej kontreformacji (Notes on the Contemporary Counter-Reformation). Warsaw, 1962.
13 bajek a krolestwa Lailonii dla duzych i malych (Thirteen Tales from the Kingdom of Lailonia for Readers Large and Small). Warsaw, 1963.
Rozmowy z Diabłem (Conversations with the Devil) (stories). Warsaw, 1965.
Kultura i fetysze. Zbior rozpraw (Culture and Fetish: Collected Articles). Warsaw, 1967.
Obecnosc mitu (The Presence of Myth). Paris, 1972.
Glowne nurty marksizmu (Main Trends in Marxism). Paris, 1976–1978.
Tezy o nadziei i beznadziejnosci (Theses on Hope and Hopelessness). Poznan, 1981.
Moje sluszne poglady na wszystko (My Correct Views on Everything). London, 1978.
Trzy bajki o identycznosci (Three Tales on Identity). Wroclaw, 1986.
Eseje (Essays). Warsaw, 1981.

- Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań (Can the Devil Be Saved and 27 other Sermons (essays). London, 1982.
- Religion. If there is no God... On God, the Devil, Sin and Other Worries of the So-called Philosophy of Religion (essays). New York, 1982.
- Bajki różne: Opowieści biblijne, Rozmowy z diabłem (Diverse Tales: Bible Stories, Conversations with the Devil). London, 1987.
- Horror metaphisicum (Metaphysical Horror). Oxford, 1988.
- Pochwała niekonsekwencji. Pisma rozproszone z lat 1955-1968 (In Praise of Inconsistency. Uncollected Writings, 1955-1968). London, 1989.
- Cywilizacja na lawie oskarżonych (Civilization in the Dock). Warsaw, 1990.
- Mini wykłady o maxi sprawach. Seria druga (Mini-Lectures on Maxi-Issues. Second Series). Cracow, 1999.
- Moje słuszne poglądy na wszystko (My Correct Views on Everything). Cracow, 1999.
- Mini-wykłady o maxi-sprawach. Seria trzecia i ostatnia (Mini-Lectures on Maxi-Issues. Third Series). Cracow, 2000.
- O co nas pytają wielcy filozofowie? (Great Philosophers and Their Questions). Kraków, 2004
- Wśród znajomych (Between Friends). Kraków, 2004
- O co nas pytają wielcy filozofowie (seria 2). Kraków, 2005.
- O co nas pytają wielcy filozofowie (seria 3). Kraków, 2006.

Примечания

- ¹ Цит. по: Kimbal, R. Leszek Kolakowski & the anatomy of totalitarianism / R. Kimbal // <http://www.newcriterion.com/archive/23/jun05/leszek.htm>
- ² Честертон, Г.К. Собр. соч.: в 5 т. / Г.К. Честертон; пер. с англ.; сост. и общ. ред. Н.Л. Трауберг. СПб., 2000. Т. 5: Вечный Человек. Эссе. С 365–368.
- ³ Lasch, C. Bunt elit / C. Lasch. Kraków, 1998. S. 134.
- ⁴ Цит. по: Kimbal, R. Leszek Kolakowski & the anatomy of totalitarianism / R. Kimbal // <http://www.newcriterion.com/archive/23/jun05/leszek.htm>
- ⁵ Ленин, В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. Т. 12. С. 320–322.
- ⁶ Цит. по: Гуревич, П.С. Социально-политическая философия Жака Эллюля / П.С. Гуревич // Эллюль Ж. Политическая иллюзия. Москва, 2003. С. 22.
- ⁷ Окара, А. Украина и евроуроды / А. Окара // <http://www.obozrevatel.com.ua/news/2007/2/16/156812.htm>

В ПОИСКАХ ВАРВАРА: противоречия культурного универсализма

Ни в исторические описания не собираюсь вдаваться, ни в пророчества. А только хочу, во-первых, обдумать определенные допущения эпистемологического порядка и, во-вторых, предложить оценочное суждение, которое тут же и будет представлено. Суждение это позволяет сократить себя до одного слова, которое в течение последних десятилетий было предметом яростного шельмования со всех сторон и поэтому теперь практически вышло из обращения: **европоцентризм**.

Само это слово относится, без сомнения, к тем словам, что напоминают мешки для мусора. Много есть таких слов, которые мы употребляем, не беспокоясь о дефиниции, и через которые усваиваем немалое количество явных абсурдов, которые не стоят борьбы с ними. К тому же при их употреблении, сосредоточивая гневное внимание на абсурдах, туманно с ними связанных, мы атакуем идеи, которые не только заслуживают защиты, но защита которых может оказаться ключевой для судьбы цивилизации. Эти слова *par excellence* идеологические, но не потому, что содержат нормативные составляющие, а потому, что функция их такова, чтобы не дать выделить вопросы логически независимые и утаить нормативное содержание в описательных утверждениях.

Список таких слов в журналистском жаргоне достаточно обширен; вместе с европоцентризмом в нем на одной стороне такие слова, как элитизм и либерализм, а на другой – эгалитаризм, социальная справедливость, гуманизм, освобождение и т.п. Слово «европоцентризм» стигматизирует значительное количество абсурдов, таких как утверждение, что у европейцев нет никаких причин интересоваться остальной частью мира, что европейская культура ничего не заимствовала из других куль-

тур, что ее успехи были связаны с расовой чистотой европейцев, что призванием Европы является вечное господство над миром и что ее история от самых своих начал представляет собой историю разума и добродетели.

Вместе с тем это слово должно возбуждать в нас возмущение по отношению к идеологии торговцев рабами (белых торговцев, ясное дело), к доктрине примитивного эволюционизма XIX в. и т.п. Однако основная его функция заключается в смешивании в некую туманную целостность различных абсурдов с бесспорной идеей уникальности европейской культуры. А тем временем эта культура подвергается опасности со всех сторон, но, может быть, больше всего со стороны нашего самоубийственного отношения к ней, в котором доминируют равнодушие к традиции, сомнение и самоуничужение.

Правдой является то, что невозможно определить европейскую культуру согласно географическим, хронологическим или содержательным критериям, не закладывая в дефиниции оценивающих суждений. Это духовное пространство с названием (как сообщают нам ученые) ассирийского происхождения, основная книга которого *par excellence* была написана на языке по преимуществу неиндоевропейском, вобрало в свою философию, искусство, религию столько импульсов из Малой и Центральной Азии, Востока, арабского мира, что ее невозможно определить не-оценивающим способом. На вопрос, когда родилась эта культура, у нас есть самые разные ответы: вместе с Сократом, св. Павлом, римским правом, Карлом Великим, в процессе духовных трансформаций XII в., благодаря встрече с Новым Светом. Но не исторического знания нам не хватает, чтобы дать точное определение. Проблема в том, что каждый ответ требует защиты, если мы допускаем, что то или иное слагаемое является для этой культуры конститутивным, т.е. постановлением, придающим ей ценность.

Подобно обстоит дело и с географией: принадлежат ли Византия, Россия и даже отдельные страны Латинской Америки к нашему пространству? Над этими вопросами можно дискутировать без конца, потому что каждый из ответов найдет себе обоснование в фактах истории. Поэтому здесь представляется более пригодным голосование, а не научное исследование. Однако заметим, что ликвидация европейской культуры не может быть осуществлена голосом большинства, который засвидетельствовал бы, что такой культуры нет или что большинство не желает к ней принадлежать: тот, кто верит в ценности европейской культуры, никогда не позволит ей исчезнуть.

Спорным, как известно, является и вопрос о времени, когда именно европейцы осознали, что составляют единое целое и в своем роде культурно уникальное, которое значительно шире их приверженности к западному христианству. Нет никаких оснований воображать, что все те, кто в разные времена побеждал сарацинов на Иберийском полуострове, татар под Шленском или оттоманские армии в устье Дуная, имели подобное самосознание. Однако нет сомнения, что это самосознание образовалось из единства веры и развилось в эпоху, когда именно религиозное

единство стало распадаться, и не только через отдельные ереси. В эту эпоху и начался тот блестящий и невероятно творческий расцвет во всех областях знания и науки, который в конце концов привел нас к современному миру с его величием и нищетой. Но последнее снова ставит под вопрос европейскую культуру. Хотя, может быть, не столько само существование, сколько ее неповторимые ценности и стремление к верховенству в базовых сферах жизнедеятельности человечества. Это стремление сегодня становится поводом, чтобы шельмовать европейскую культуру со всех сторон.

Несколькими годами ранее я осматривал доколумбовы древности в Мексике, пользуясь дружеским сопровождением известного мексиканского писателя, замечательного знатока истории индейских народов. Объясняя мне значение вещей, о которых иначе я бы никогда не узнал, мой проводник часто подчеркивал варварство испанских завоевателей, уничтоживших ацтекские орнаменты, переплавивших замечательные фигурки из золота на монеты с изображением цесаря и т.д. Позже я сказал ему: «Считаешь, что они были варвары – но, может быть, это как раз были настоящие европейцы, возможно последние из них; они всерьез воспринимали свою христианско-латинскую цивилизацию и именно поэтому уничтожали языческих божков. Они не были способны с эстетическим трепетом музеологов относиться к объектам, которые несли религиозно враждебный смысл. Если их поведение представляется возмутительным, то, вероятно, лишь потому, что нам уже непонятна их цивилизация, так же как им наша?» Это, конечно, была шутка, но не совсем невинная. С нее может начинаться рефлексия над вопросом, который является определяющим для нашего мира: неужели благодушная заинтересованность и толерантность к иным цивилизациям появляется лишь тогда, когда мы перестаем относиться серьезно к своей цивилизации? Иными словами: до какой степени мы можем ценить собственную цивилизацию без одновременного желания порабощения иных? Если бы правдой было утверждение, что варварство можно уничтожить только вместе с собственной культурой, то оказалось бы, что лишь те цивилизации способны к неварварству, которые рассыпаются в руины. Малоутешительный вывод.

Не думаю, чтобы это заключение было верно. Напротив, на мой взгляд, развитие нашей цивилизации дает все основания, чтобы отнестись к нему скептически.

В каком смысле солдаты Кортеса были варварами? Безусловно, они оказались грубыми, алчными и немилостивыми захватчиками, а не консерваторами древностей. Вместе с тем они были набожными, искренне привязанными к своей вере и убежденными в своем духовном превосходстве. Если они и были варварами, то лишь в том смысле, в каком варваром становится каждый, кто не оказывает почтения людям, которые живут по иным обычаям и чтят иных богов.

Здесь мы касаемся хлопотного вопроса: в какой мере почитание иных культур обязательно и где стремление не быть варваром превращается в равнодушие или даже сочувствие варварству? Изначально варваром был тот, кто говорил на непонятном языке, однако позже это слово приобрело преимущественно культурное содер-

жание. Все, кто изучал философию, помнят славный пролог Диогена Лаэртского, где он опровергает ложную теорию, согласно которой философия еще до греков существовала у варваров, индийских гимнофилософов, вавилонских и кельтских жрецов. Но, атакуя культурный универсализм (космополитизм) своего века, Диоген Лаэртский не вспоминает афинянина Мусея и Тебанянина Линоса, сына Гермеса и Урании, а именно с них философия, как, собственно, и род людской, берут свое начало.

Диоген Лаэртский рассказывает о странных обычаях халдейских магов и безумных верованиях египтян и возмущается мыслью, что можно называть философом Орфея из Тракии, который все человеческие склонности, включая самые никчемные, бесстыдно приписывал богам. Однако в этом дефенсивном самоутверждении чувствуется некоторая неуверенность: Диоген Лаэртский писал в эпоху, когда древние мифы утратили свою жизненную силу и сублимировались в философские спекуляции, а политический и культурный порядок находился в явном распаде. И наследниками этого порядка должны были стать варвары, т.е. христиане. Завороженные философией Шпенглера (или какой-либо иной «исторической морфологией»), мы тоже порой считаем, что живем в подобную эпоху, как последние свидетели приговоренной цивилизации. Однако приговоренной кем? Не Богом, но только предположением об «историческом законе». И хотя на самом деле никакого исторического закона мы не знаем, но, вымышленный нами, он может быть исполнен как самоисполняющееся пророчество.

Наше положение в любом случае двусмысленно и, может быть, даже внутренне противоречиво: с одной стороны, мы придумали себе такой род универсализма, который удерживает нас от оценивающих суждений относительно иных цивилизаций и провозглашает их фундаментальное равенство с нами; с другой стороны, поскольку это равенство утверждаем мы, то вместе с ним признаем свою исключительность, а значит, и нетолерантность каждой культуры в отдельности. Иначе говоря, мы утверждаем именно то, что в самом акте утверждения, как надеялись, уже преодолели. Однако заявленная двусмысленность вовсе не парадоксальна, поскольку через нее мы акцентируем отличительные черты зрелой европейской культуры: потребность в сомнении относительно самой себя, отрицание собственной исключительности, способность видеть себя глазами других. Уже в самом начале колониальных завоеваний епископ Бартоломей де Ла Кас предпринял яростную атаку на колонизаторов во имя тех самых христианских принципов, на которые те опирались. Независимо от непосредственных результатов его борьбы, он был одним из первых, кто обратился против соплеменников в защиту чужеродцев, смягчая жестокий характер европейского экспансионизма. Но только после Реформации и религиозных войн развилась, начиная с Монтеня, скептическая рефлексия над стремлением Европы к духовному превосходству, которая затем широко распространилась в среде либертинов и других предшественников Просвещения. Монтень – вслед за Росарио, имя которого восславил статья в словаре Бейля, – срав-

нивал человека с животными, чтобы последним приписать превосходство и таким образом инициировать позднее очень популярную тему презрения ко всему роду человеческому. Скептический взгляд на собственную цивилизацию глазами иных сделался литературной манерой, обычной для Просвещения, при этом «иными» могли быть как добрые китайцы или персы, так и пришельцы со звезд или лошади.

Вспоминая все эти известные факты, хочу сказать лишь одно: можно утверждать, что в ту самую эпоху, когда Европа, вероятно, главным образом из-за турецкой угрозы, пришла к ясному представлению о собственной культурной идентичности, она поставила под вопрос превосходство собственных ценностей и начала процесс самокритики, который сделался как источником ее силы, так и слабости.

Эта способность к самосомнению, готовность противиться – наперекор самому себе – собственному самоудовлетворению, лежит в основе Европы как духовной силы; отсюда родилось и стремление к разрушению этноцентричной замкнутости. Все это вместе и предопределило неповторимую ценность нашей культуры. Обобщая, можно сказать, что европейская культурная идентичность утвердилась через отрицание какой-либо идентичности в качестве окончательной, кроме идентичности, связанной с сомнением и беспокойством.

И хотя правдой является, что все науки, естественные и гуманитарные, или родились в лоне европейской культуры, или обрели в ней зрелость (с точки зрения сегодняшнего дня), есть среди них одна, которую можно назвать европейской *par excellence*, через само ее содержание. Это – антропология, которая основана на сомнении относительно собственных норм и суждений (ментальных, моральных и эстетических особенностей), которое позволяет ей проникнуть в поле видения другого и усвоить его способ восприятия (имею в виду современную антропологию, а не Фрезера или Моргана). Никто, наверное, не может достичь в этой дисциплине окончательного успеха, поскольку он требует эпистемологически невозможной ситуации быть внутри предмета исследования и одновременно удерживать дистанцию от него, но само это стремление не является напрасным. Естественно, нельзя быть сторонним наблюдателем, который изнутри осматривает объект своего наблюдения. Антрополог может совершенно понять дикаря только в том случае, когда сам становится дикарем, а антропологом перестает быть. Однако ставить под вопрос и даже отрицать оценки своей культуры и означает умение понимать другого, которое возможно лишь тогда, когда ты научился критически относиться к себе.

Ситуация антрополога имеет серьезный смысл, который опирается на убеждение, что описание и анализ, свободные от нормативных предрассудков, более ценны, чем дух превосходства или фанатизма. Вместе с тем это убеждение настолько же верно, как и противоположное, поскольку на самом деле избавиться от оценок невозможно. То, что мы называем научным духом, является культурной позицией, сущностно связанной с западной цивилизацией и ее ценностной иерархией. Мы имеем право защищать идею толерантности и критицизма, однако не можем считать «нейтральные» идеи свободными от нормативных оснований. Упоен я при-

надлежностью к цивилизации, абсолютно превосходящей всяческие иные, славлю доброго дикаря или, наконец, утверждаю, что «все культуры равны», – я всегда занимаю определенное положение относительно укорененных ценностей и уклониться от этого не могу. Последнее означает, что, утверждая, опровергая или все принимая в равной степени, мы всегда занимаем некое положение, хотя бы *implicite*, – в тот момент, когда даем себе отчет о существовании иных цивилизаций.

И насколько два первых положения достаточно определены, настолько смысл третьего («все культуры равны») неоднозначен. Это положение, если берется в своем сильном смысле, приводит, как представляется, к противоречию и даже впадает в антиномию, аналогичную антиномии последовательного скептицизма. В самой своей сущности слово «культура» охватывает все формы человеческого поведения: технику, обычаи, статусы, верования, искусство, образовательные системы, право. Возможная универсализация этих областей, очевидно, подлежит иерархизации: начиная от языка, который менее всего универсализуется, и заканчивая математическим знанием, потенциальная и фактическая универсализация которого является бесспорной.

Когда говорят «все культуры равны», то прежде всего имеют в виду более специфические сферы культуры, к примеру искусство, не опирающееся ни на какие надкультурные (трансцендентные) нормы, которые могли бы определить эстетические критерии и сравнить ценности различных форм выражения. Однако равно в интеллектуальной и моральной жизни нельзя найти трансцендентальных правил. Но если существуют какие-то общие правила во всех известных нам культурах – такие как нормы формальной логики или запрет кровосмешения, – то не является ли это доказательством того, что подобные правила возможны и в трансцендентальном смысле. Заметим, однако, разницу между применением принципа «все культуры равны» к искусству, с одной стороны, и к правилам морали, права и интеллектуальным правилам – с другой. В пространстве искусства толерантность дается нам без труда, может быть, потому, что мы не замечаем логического несоответствия при конфронтации разных эстетических критериев. Более того, в результате универсалистских искушений мы даже воображаем, будто способны к одинаково верному эстетическому восприятию всех культур; к примеру, не участвуя в ритуалах и языке японской цивилизации (или даже ничего не зная о них), мы уверены, что можем оценить японскую живопись так же хорошо, как творения европейского барокко. Но это еще наименее опасные из иллюзий универсализма. Конфуз, который случается из-за этих иллюзий, оборачивается серьезной проблемой в сферах, непосредственно управляющих нашим поведением, а именно – в религии, нравственности, праве и в интеллектуальных уложениях. Здесь мы оказываемся среди различий (организованных противоборством норм), которые, в отличие от музейных экспонатов разных цивилизаций, не могут не вступать между собой в конфликт.

Если выражение «все культуры равны» для меня является всего лишь свидетельством, что люди жили и живут в разных традициях и выявляют в них свои потребности

ности, то из него можно извлечь следующие утверждения. Этим я хочу сказать, что сам нахожусь в определенной культуре и иные меня не касаются или что нет абсолютных стандартов, с помощью которых можно оценивать различные культуры, и, наконец, что, возможно, стандарты такие, напротив, существуют и согласно этим стандартам все культуры являются одинаково правомочными.

Насколько эта последняя позиция является непохожей на две предыдущие, настолько она закладывает основания для взаимно исключаящих утверждений. А вот первая позиция позволяет последовательно удерживать ее, однако лишь в том случае, если я имею в виду не то, что все культуры равны, но только то, что все иные мне безынтересны и что я нахожу полное удовлетворение в собственной культуре.

Вторая позиция действительно достойна внимания, поскольку является практически универсальной (и поэтому она никогда последовательно не удерживается). Известно утверждение, что все ценностные системы, пока они внутренне согласованны, защищены от логической и эмпирической критики. Невозможно доказать, что религиозная толерантность лучше, чем режим, в котором люди приговариваются к смерти за крещение своих детей, что равенство относительно прав личности обладает превосходством над законом, который наделяет привилегиями отдельные касты, что свобода лучше, чем деспотизм, и т.д. Не становится выходом в таких вопросах и воздержание от предпочтений, независимо от того, поддаются ли эти предпочтения обоснованию. Признавая, что все культуры равны, очевидно, никто в Европе не желал бы, чтобы ему отсекали руку, когда он совершит налоговый обман, или подвергли публичному бичеванию (в случае с женщиной – забрасывание камнями), если бы имела место любовная связь с особой, которая не является законной женой (мужем). Сказать в таком случае: «это кораническое право и нам необходимо уважать чужие традиции», то же самое, что сказать: «у нас подобное было бы отвратительно, однако что взять с этих дикарей»; то есть, признавая, что «все культуры равны», мы не только высказываем уважение, но и презрение к иным традициям.

Когда мы ценим собственную культуру и одинаково уважаем другие, то попадаем в ситуацию, подобную антиномии скептицизма. Мы утверждаемся в европейской культуре через удержание критической дистанции относительно самих себя, через взгляд на себя чужими глазами, через толерантность в публичной жизни, скептицизм в интеллектуальной работе, через потребность конфронтации всех возможных доводов как в процессе права, так и в науке, короче говоря, через все то, что оставляет для нас открытым поле сомнения.

Признавая все это, мы тем самым провозглашаем – *explicite* или молчаливо, – что культура, которая смогла эти идеи с такой силой выразить, отстоять и внедрить в жизнь, является высшей культурой. Но мы остаемся варварами, если ведем себя фанатично, если прячем свою исключительность настолько, что не в состоянии оценивать доводы иных, если сами себя не умеем поставить под вопрос; однако также мы должны считать варварами фанатиков иных традиций, которые погрязли в своей исключительности. Нельзя быть скептиком в такой степени, чтобы

не замечать разницы между скептицизмом и фанатизмом: это означало бы быть скептиком настолько, чтобы уже перестать им быть. Парадокс скептицизма известен с древности, и с древности известна возможность его преодоления: последовательный скептик должен умалчивать свой скептицизм, чтобы не уничтожать его актом говорения.

С чем-то подобным мы сталкиваемся и во время наших дискуссий. В момент, когда мы дискутируем проблемы универсализма, то попадаем в ту самую антиномию, которой сильнее всего хотели избежать. Последовательный скептик должен упрямо молчать и поэтому мы никогда не будем знать имен великих скептиков. Культурный универсализм встречается с той же трудностью. Он противоречит сам себе, если добродушно принимает различие между универсализмом и эксклюзивностью, толерантностью и нетолерантностью, между самим собой и варваром; он противоречит сам себе, если, не желая поддаваться искушениям варварства, представляет иным право быть варварами.

То, что я утверждаю, является скептицизмом непоследовательным и универсализмом непоследовательным, а именно таким, который избегает антиномии через то, что не распространяется за границы, где разница между универсализмом и варварством оказывается стертой. Только в таком контексте это утверждение свидетельствует о превосходстве европейской культуры как культуры, которая создала и сумела сохранить сомнение относительно собственных норм. Но я верю, что и это достаточно существенный повод, чтобы беречь европоцентричный дух. Моя вера заключается в том, что некоторые ценности собственно европейской культуры – прежде всего ее умение быть самокритичной – не только подлежат защите, но и должны широко распространяться (но только не употреблением силы); иными словами, универсализм сам себя приводит к параличу, если не воспринимает себя как программу в собственном смысле универсального, т.е. способного к распространению.

Эти рассуждения – не игра в понятия. Европа находится под давлением тоталитарного варварства, сила которого укрепляется сомнениями относительно собственной культурной идентичности и скептицизмом к утверждению самой себя как культуры универсальной.

Однако верить в универсальность европейской традиции вовсе не означает провозглашать идеал унифицированного мира, разделяющего одни и те же вкусы, верования, общий стиль жизни и, наконец, один и тот же язык. Речь идет о запрете на избранничество, но вместе с тем и о сохранении ценностей, которые составили основу величия Европы. Впрочем, про это легко говорить. Но культурные взаимовлияния действуют согласно своим собственным правилам, которые невозможно предвидеть. Весь остальной мир в первую очередь надеется получить от европейской культуры военную технику, в последнюю – гражданские свободы, демократические институты, интеллектуальные стандарты. Но технологическая экспансия Запада означает вымирание десятков малых культур и языков, и это тот процесс,

относительно которого нет поводов радоваться. Как нет ничего радостного и в том, что большая семья индоевропейских языков (кельтская ветвь) также умирает на наших глазах, несмотря на все сопротивление этому процессу. Старые великие культуры еще пытаются противостоять воздействию Запада, но кто знает, что их ожидает в будущем. Даже языки старых культур, такие как арабский или хинди, уступают европейским языкам в образовании и вовсе не потому, что не способны исполнять ту же роль. Печальная ситуация, и никто не знает, как ее исправить.

Если бы нам было уготовано судьбой уничтожить разнородность мира, то это предназначение нельзя было бы иначе исполнить, кроме как ценой разрыва преемственности традиции, что повлекло бы за собой смертельную опасность не только для каждой цивилизации в отдельности, но и для всего человечества в целом.

«Наши потомки не будут просто людьми Запада, как мы. Будут они наследниками Конфуция и Лао-цзы, так же как Сократа, Платона и Плотина; наследниками Гаутамы Будды, так же как Исаяи и Иисуса Христа; наследниками Заратустры и Магомета, так же как Исиды и Илива, Петра и Павла; наследниками Сансары и Рамануджи, так же как Климентия и Оригена; наследниками Отцов каппадокийской Церкви Восточной, так же как африканца Августина и умбрийца Бенедикта; наследниками Ибн-Хальдуна, так же как Боэция, наследниками – если дальше пойдем дорогами политики – Ленина, Ганди и Сунь-Ятсена, так же как Кромвеля, Джорджа Вашингтона и Мадзини».

Это оптимистическое пророчество (конечно, оптимистическое лишь в намерении) относится к 1947 г., а его автором является Арнольд Тойнби (*Civilisation on Trail*. New York 1947. S. 90). Выражается в нем идеал мира радикально унифицированного, но это описание вызывает большие сомнения, даже если мы разделим критику, которой Тойнби подверг спекуляции Шпенглера относительно исторических циклов. Что же это означает – быть наследниками всех этих пророков, философов и политиков? В тривиальном смысле мы уже являемся их наследниками, поскольку живем в мире, к формированию которого все они имеют самое непосредственное отношение, однако ясно, что здесь речь идет о «наследстве» в смысле гораздо более сильном и более непосредственном. Однако если бы наши потомки стали наследниками именно в этом смысле, то все ценности и идеалы тех людей, которые сегодня взаимно не согласуются, для них утратят свое значение; и тогда далекие предки из носителей духовных идеалов превратятся в ничто. Если разница между католиками и протестантами исчезнет, тогда взгляды Бюссе и Кромвеля утратят свое значение и они, тем самым «примиренные», у наших наследников перестанут вызывать хоть какой интерес. Также трудно себе представить, каким образом, исповедуя ценности духовной свободы, можно одновременно быть наследником Ленина и Магомета.

Однако можно представить, что дело свободы вообще утратит свое значение и какое-то общество в будущем станет полностью тоталитарным с одобрения своих граждан. Тогда, очевидно, его потомки будут наследниками Ленина, но не Вашингтона. Кратко говоря, воображать, что внуки соединят все несогласные между собой традиции в гармоническую целостность, что будут одновременно пантеистами, теистами и атеистами, либералами и сторонниками тоталитаризма, энтузиастами насилия и противниками насилия, – это значит, строить в воображении мир, который не только превосходит нашу способность воображения и наши пророческие дары, но в котором никакой живой традиции уже не останется; это значит, что они будут варварами в самом непосредственном значении этого слова.

Повторим, что мы здесь не играем с понятиями. Европа находится под влиянием различных сил, которые угрожают ей единством, основанным на варварстве и забвении традиций. Одной из этих сил является варварство советского типа, которое пытается – со значительным, но, к счастью, все ослабляющимся усилием – поставить все духовные устремления на службу государству, огосударствить человеческую личность, историческую память, мораль, познание, искусство и науку. При этом оно манипулирует традицией, бесконечно перedefируя и деформируя ее относительно изменяющихся потребностей государства. Второй такой силой является технологический дух, рожденный из успехов европейской науки (включая сюда и ее борьбу с нищетой, болезнями, страданием). Необыкновенно гордый своими результатами, он смог вложить в наше сознание сомнение относительно необходимости тех традиций, которые непосредственно не участвуют в развитии науки и техники; уничтожительное действие этого духа проявляется, между прочим, в редукции места и значения исторических наук и классических языков. Нет нужды говорить, что эти силы не остаются без сопротивления и что оно наиболее заметно в частичном возрождении религиозной традиции, даже если иногда оно приобретает варварские формы. Вместе с тем я не вижу серьезных оснований для утверждения, что это смертельные угрозы и что наша цивилизация поражена неизлечимой болезнью.

Несмотря на все поражения и собственное варварство, которое наша цивилизация должна была и будет преодолевать, она не утратила своего величия. Никто не станет отрицать тот факт, что множество ее идей адаптировано во всем мире, что ее институциональные формы наследуются, по крайней мере формально, на всех континентах, что даже тиранские режимы пользуются европейской фразеологией. Даже повсеместная мода на европейскую форму одежды (порой вовсе не к месту) говорит о том, что если варварство и не побеждается, то стыд за него уже широко распространен, а кто стыдится своего варварства, тот уже наполовину его победил.

Однако правдой является и то, что внутренняя угроза Европе происходит не только из надломленной воли самоутверждения, но также из собственных эндогенных зон варварства. Тоталитаризм имеет европейские основания, различные формы которых можно проследить в истории социалистических утопий, националистических идеологий, теократических тенденций. Европа, как оказалось, не ограждена от

своего варварского прошлого, которое на наших глазах победоносно возвратилось, однако она смогла мобилизовать себя на сопротивление этому прошлому. Но на вопрос, из чего происходит это сопротивление собственному и чужому варварству, нет ответа, в смысле – окончательного ответа; греческие, иудейские, римские, персидские и иные культуры, которые сплавились в этой цивилизации (не говоря уже о материальной, климатической и демографической специфике, требующей отдельного разговора), не позволяют отдать предпочтение чему-то одному. И все же когда мы пробуем определить духовную сущность этого пространства тем способом, который здесь был предложен (через акцентацию сомнения, незавершенности, идентичности, ни в чем не окончательной), то в первую очередь думаем о христианстве.

Можно судить (с претензией на «гипотезу»), что существует неперенная связь, *vinculum substantialis*, между доктриной западного христианства и тем творческим порывом, который открыл научные и технические перспективы Европы, создал концепцию гуманизма как веру в абсолютную ценность человеческой личности и, в конце концов, обнаружил в себе способность к толерантности и критическому самоанализу, из которых и выросла современная цивилизация. Такое суждение может и даже должно представляться парадоксальным, если учесть все известные факты, указывающие на интеллектуальные и социальные достижения Запада, утвердившиеся наперекор сопротивлению Церкви, а также то, что это сопротивление было мощным и продолжительным, и не только в отдельных сферах науки, но и в воплощении новых идей, демократических институтов, социального законодательства, – всего того, без чего Европа в том виде, в котором мы ее знаем, была бы невозможной.

Историю этого сопротивления нельзя проигнорировать, сведя к нескольким незначительным случаям, или трактовать ее как давно забытое прошлое. Но это уже иная проблема. А нас теперь интересует, насколько Просвещение, которое прокладывало себе дорогу через сопротивление Церкви и, часто, христианству, само является порождением христианства.

Здесь я имею в виду просвещение в самом широком значении, согласно славной формуле Канта: «выход человека из состояния незрелости, обусловленного самим человеком»; т.е. массу духовных усилий, которые утверждали силу светского разума и воображения, познавательный интерес, господство над материей, исследовательскую отвагу, аналитическую пронизательность, скептицизм относительно простых решений, критический анализ достигнутых результатов. Вместе с тем, кажется мне, можно принимать христианскую религиозность (равно в доктринальной составляющей и мирской отзывчивости) как училище европейского духа, при этом не уменьшая, не игнорируя и не сводя к обыкновенной ошибке всю историю драматического конфликта между Просвещением и христианской традицией. Вот рамки моей спекуляции.

Подобно как во всех великих религиях, в вере христианской неизбежно присутствует напряжение между образом конечного мира, который обличает Творца, и образом этого же мира как отрицания Бога; между природой, отражающей славу и благодать Божию, и той же природой, которая через разрушения в самой себе является причиной зла; между библейским «*cuncta valde bona*» и землей как местом изгнания человека или даже, в экстремальной версии, как плодом греха, совершенного Богом. Христианская идея в том виде, в котором она была сформулирована и артикулировалась на протяжении столетий, должна была непрестанно сопротивляться еретическим тенденциям, актуализировавшим не те, так иные из этих напряжений. Практически вся история ереси – если ее рассматривать только в теологических формах выражения, – организована по этой схеме, а главные противоречия догматов и антидогматов выступают как варианты одной оппозиции: человечность Иисуса Христа против его божественности; свобода человека против судьбы и предопределения; Церковь видимая против невидимой; право против любви; буква против духа; знание против веры; спасение через дела против спасения верой; государство против Церкви; земля против неба; Бог-Творец против Бога-Абсолюта. Равновесие, которое через эти оппозиции удерживалось, не могло не быть постоянно нарушаемым, а ставкой этой вечной борьбы Церкви было не уничтожение той или иной ереси (тем более не заточение или казнь того или иного обвиняемого), а всегда – надо нам в это верить – судьба цивилизации. Поддаться манихейскому искушению, осудить тело, физический мир как царство демона или, в лучшем случае, как место, в котором ничего ценного не может родиться, – это значит утвердить глубокое равнодушие относительно всего, что происходило в европейской цивилизации (или вовсе ее отвергнуть), признать бессмысленность светской истории, нравственности и человеческого времени (лучше всего это искушение в прошлом веке развенчал Кьеркегор). Уступить вместе с тем противоположному искушению (скажем, пантеистическому), которое славит мир таким, каким он есть, и не хочет признать реальность зла, – также означает убить или ослабить волю, которая является условием господства над материей.

Осуждение мира и аскетический бег от его искушений, с одной стороны, и обожествление мира и забвение зла, с другой стороны, – между этими полюсами христианская мысль бодрствует постоянно, и, хотя легко найти библейские цитаты для обоснования каждого из них, главное направление западного христианства упорно искало формулу, которая позволила бы отбросить фатальный выбор между ними. Представляется, что в конце концов Европе удалось найти в христианстве ту меру, которая ей требовалась, чтобы развить свои научные и технические достижения и вместе с тем сохранить сомнение относительно ценности физического мира, но не до такой степени, чтобы окончательно его осудить как неизгладимое место зла, а чтобы увидеть в нем противника, которого можно победить.

Спросим себя, не было ли в культуре буддизма моральное и метафизическое унижение природы связано с технической стагнацией этой культуры и, наоборот, в

восточном христианском мире не происходит ли обожествление универсума природы также из слабого технического творчества? Это только размышления, признаюсь, но трудно от них удержаться, когда мы спрашиваем, почему произошел тот необыкновенный культурный и технический расцвет, начало которому положила Европа и который является совершенно уникальным в истории. Эту дилемму можно разложить на более узкие вопросы, такие как место и ограничение естественного разума в цивилизационных процессах или его роль свободного арбитра в проблеме спасения христианской души. К тому же возникает искушение всю борьбу гуманизма и Церкви анализировать в категориях конфликта между теми глубокими основаниями христианства, которые стремились достичь устойчивого равновесия, но никогда не обретали желаемой стабильности.

Впрочем, здесь не место рассуждать над отдельными догматами. Я только пробую найти слова для подозрения, что современный гуманизм, который вырос из христианской традиции и который обратился против этой традиции, пришел к тому, что восстал против самого *humanum*. Этот гуманизм, который замечательно высказал Пико дела Мирандола, т.е. гуманизм, определенный идеей незавершенного человека, его непрестанными колебаниями и неуверенностью, проистекающими из свободы выбора, – дает возможность наиболее полно согласовать себя с христианским учением. Однако гуманизм, который допускает свободу не только в том смысле, что человек может обратиться к добру или злу, но и в том, что поскольку никакие нормы не были ему сообщены Богом или природой, то он имеет неограниченные права создавать нормы согласно собственным стремлениям, – такой гуманизм ни в каком смысле невозможно согласовать с христианством.

Можно думать, – хотя у меня нет доводов за или против этого суждения, – что гуманизм, укрепляя себя, должен был использовать нехристианские или даже антихристианские формы и что если бы он существовал в границах, определенных Церковью, и под духовным патронатом теологической ортодоксии, то не смог бы идейно освободить человека, а значит, и преобразовать Европу. Это допущение не противоречит христианскому происхождению гуманизма: в атеистическом и принудительно-антихристианском гуманизме Просвещения надо видеть крайнее пелагианство, отрицание первородного греха и неограниченное утверждение природной доброты человека. Вместе с тем можно утверждать, что, порвав со своими христианскими основами, гуманизм через отрицание границ в свободе установления добра и зла в конце концов привел нас к моральной пустоте (которую сегодня ищем чем наполнить), обратился против свободы и создал ситуацию, в которой личность превращается в инструмент.

Обратим внимание на аналогичную опасность в связи с ростом надежды на светский разум в формировании Европы. Скептицизм, питающийся, что очевидно, греческими источниками, также в значительной мере сформировался в христианском контексте. Гуманистическое «*quod nihil scitur*» означало недоверие к схоластике и было началом драматической встречи разума, который в самом себе искал все

основания, с тайнами веры. Скептические темы, озвученные в понятийных рамках христианства (Шарррон, Паскаль, Бейль), получили успешное развитие в нехристианских формах, прежде всего в эпистемологическом нигилизме Дэвида Юма, который, с незначительными поправками, просуществовал до нашего времени. Но он тоже, как представляется, уже достиг стадии интеллектуального вырождения.

Можно отыскать следы христианства и в истоках идеи современной демократии. Бог Локка и Бог Американской Декларации Независимости не были только риторическим украшением; теория неотчуждаемых прав человека возникла из христианского понимания личности как безусловной ценности. Но и здесь социальная теория утвердилась через оппозицию Церкви, чтобы затем обратиться против самой себя, когда ее материальные императивы выявились несогласованными с духовными, а понятие государства как распорядителя всех материальных и духовных благ взяло верх над понятием неотчуждаемых прав личности; так права человека сделались правами государства, которое мы стали называть тоталитарным.

Всюду мы находим эту самоуничтожающуюся схему. Просвещение выросло из ревизии христианского наследия, но, чтобы утвердиться, оно должно было преодолеть косную традицию этого наследия. Утверждаясь в прогрессивной (гуманистической) или реакционной (контрреформационной) форме, Просвещение шаг за шагом отдаляется от своего первоисточника, чтобы позднее сделаться нехристианским или антихристианским. В последних своих стадиях Просвещение выступает против самого себя; гуманизм превращается в моральный нигилизм, исследовательское сомнение оборачивается эпистемологическим скептицизмом, личность претерпевает невероятную метаморфозу, которая оканчивается тоталитаризмом. Упраздня барьеры, построенные христианством для защиты от Просвещения, последнее уничтожало барьеры, которые хранили его от вырождения в обожествление природы и человека. В наше время христианство и Просвещение (одинаково охваченные чувствами отторжения от жизни и собственного тупика) ставят под вопрос свои достижения и задумываются о туманных перспективах новых жизненных укладов. Однако это неуверенное и хаотичное движение саморефлексии является не упадком, а укреплением того самого основания, на котором была построена Европа, и в этом смысле она остается верной себе. Если продолжится нашествие варваров, то вовсе не потому, что не было найдено окончательное решение, а потому, что такого решения нет. Христианство и не обещало ни одного окончательного решения для общества. Это и позволяет нам уклониться от дилеммы «оптимизм – пессимизм», если она означает выбор между верой в окончательные решения и отчаянием. Отчаяние распространено прежде всего среди тех, кто когда-то верил в эти окончательные решения. Однако христианское учение одинаково защищает нас и от безумной веры в бесконечную возможность самосовершенствования человека, и от отчаяния. В главных своих направлениях христианство всегда боролось против миллениаризма, который вырастал на его границах и привлекательность которого неизмеримо возросла, когда он приобрел антихристианские формы. Христианство

во все времена твердило: философский камень, эликсир бессмертия – это предрас- судки алхимиков. Нет общества без зла, греха, конфликта. Идеалы такого общества возникают из мысли о всеильности человека и являются плодами гордыни, но зна- ние об этом не должно вселять в нас отчаяние. Мы не стоим перед выбором между абсолютным совершенством и тотальным самоуничижением. Нашей вневременной задачей является никогда не окончательное, вечное беспокойство. Только так, в естественном для нее духе сомнения, европейская культура сохранит свое великое предназначение, а значит, и свое право называться универсальной культурой.

Перевод с польского Олега Бреского

ТЕЗИСЫ О НАДЕЖДЕ И БЕЗНАДЕЖНОСТИ

Изложим кратко основные аргументы, которые обычно используют для утверждения о принципиальной неспособности современной коммунистической системы к реформированию. Все они опираются на утверждение, что главной социальной функцией этой системы является удержание монополистической и неконтролируемой власти правящего аппарата; всяческие институциональные и фактические изменения, дающие о себе знать, не нарушают этого основного принципа, которому подчинены политические и экономические действия властвующих; монополия деспотической власти не может быть ликвидирована частично (впрочем, монополия по определению не может быть «частичной»). Все действительные и воображаемые перемены в границах системы не являются значимыми и легко преодолеваются, поскольку не могут быть институционализированы без распада всего механизма. Удовлетворение основных потребностей как рабочего класса, так и интеллигенции невозможно в границах, определяемых главной функцией системы. Мы имеем дело с совершенно непластичным организмом, лишенным механизмов саморегуляции и способным к изменениям только в результате сильнейших катастроф, которые происходят время от времени, однако в физиологии этого организма они не оставляют после себя никаких следов, кроме поверхностных изменений и перегруппировок правящих клик. Сталинизм, в узком смысле, т.е. кровавая и беспринципная единоличная тирания, был совершенной реализацией практических принципов системы; ее позднейшее преобразование (прежде всего значительное смягчение террористической формы правления, безусловно, важное с точки зрения безопасности людей) не изменило деспотического характера системы и не ограничило со-

циалистических форм принуждения и насилия. Поскольку базовые функции этой социальной системы направлены против общества, которое совершенно лишено каких-либо институциональных форм самозащиты, то мы можем лишь вообразить ее концептуальное изменение. Проще всего этот переворот представить в масштабе всей мировой социалистической системы, поскольку, как известно, советская военная сила всегда будет использована для удушения каждой из локальных революций. Последствием такого переворота должно стать – согласно надежде одних – социалистическое общество в смысле, определяемом марксистской традицией (т.е. общество, управляющее процессами производства, распределением доходов и располагающее представительской системой), а согласно надеждам другим – переход к западноевропейской модели капитализма, который в ситуации банкротства социализма является единственным заслуживающим доверия путем развития.

Далее перечислим важнейшие особенности советской модели социализма, которые доказывают, согласно этой позиции, что все надежды на его частичное, постепенное или эволюционное «вочеловечение» являются напрасными (говорю о «структуральных» особенностях, которые дают себя обнаружить во всех странах, построенных согласно советскому образцу).

1. То, что обычно называется «демократизацией» советской системы, в принципе является невозможным, поскольку политический деспотизм и монополия правящего аппарата в рамках использования средств производства, инвестиций, трудоустройства и распределения доходов здесь взаимно обусловлены. Политическая монополия правящей олигархии опирается на ее позицию единственного работодателя и единоличного владельца средств производства. Потому каждое, хотя бы несовершенное, но реальное движение в направлении политической демократии означает частичное ослабление правящей партии, которая, не являясь юридическим владельцем средств производства, имеет все права и привилегии коллективного владельца. В этой фундаментальной области всякие отступления от основного принципа являются только формальными декларациями. Можно позволить работникам дискуссии относительно их места в производстве или комиссии сейма, назначенной партийным аппаратом, обсуждать второстепенные вопросы экономической политики, но все решения так или иначе принимаются партийными органами, которые не подвластны никакому общественному контролю, и, естественно, любая критика их распоряжений, проявленная в дискуссиях, не имеет никакого значения, поскольку тщательный надзор за информацией не позволяет ей приобрести формы социального протеста. Никакие предлагаемые экономистами проекты реформ не могут быть приняты, если они направлены на уменьшение экономической монополии и грозят ослаблением компетенции правящего аппарата.

2. Естественной тенденцией системы является неустанное уменьшение роли экспертов, в особенности в экономической, социальной и культурной политике.

Экспертов терпят лишь в том случае, когда они не требуют для себя никаких прав по принятию решений, однако и тогда терпят неохотно и по мере возможности ликвидируют или замещают фигурами, избираемыми согласно критериям политического сервиллизма. Признание за экспертами какой-либо реальной роли в принятии решений также было бы сокращением власти правящего класса. Потому непрофессионализм, растрата социальной энергии и материальных средств, как и власть некомпетентных, являются встроенными в механизм управления и не могут рассматриваться как его временные дефекты, которые возможно исправить в будущем. Этот механизм не допускает, чтобы чисто «технические» критерии, не подчиненные цели укрепления существующей власти, имели влияние на ее функционирование.

3. Свобода информации – обязательное условие эффективного функционирования как экономики, так и образования и культуры, – является наиболее невозможной без обрушения всей системы власти, которая в условиях свободного обмена информацией неизбежно погибла бы в самом скором времени. Более того, невозможной является даже закрытая информация, доступная лишь правящему аппарату в порциях, полезных для более эффективного функционирования этого аппарата. Более того, правящие, даже если бы они заботились о доступе к правдивой информации, были бы ею дезинформированы. Минули времена, когда Сталин управлялся с данными статистики, уничтожая статистиков, а знание о жизни черпал из фильмов о колхозах. Но и недопущение искажений не изменит ситуации с дезинформацией правящих элит, поскольку она встроена в сам механизм системы. Это следует по крайней мере из двух обстоятельств. Во-первых, поставщиками закрытой информации чаще всего являются те функционеры, которые в правящем аппарате несут ответственность за информируемые дела. Поэтому правдивая информация была бы самодонительством, чего трудно ожидать от людей власти; к тому же озвучивание желательных известий награждается, а нежелательных – наказывается. (Примеры наказания за плохие вести в истории неисчислимы и хорошо известны.) Подобный подход, очевидно, естественным способом распространяется на все категории информаторов. Во-вторых, ничем не ограниченное накопление информации о социальной жизни, кроме стремления к фактическому определению действительного положения дел, требовало бы содержания значительного аппарата, независимого от политических обязанностей и работающего в условиях абсолютной свободы сбора информации, хотя и не распространяемой в обществе. Такой аппарат выглядел бы не только инородцем в системе, но и создавал бы политическую угрозу в силу «идеологической» неподчиненности рестрициям и свободы от общих повинностей. Более того, значительная масса информации, таким образом собираемой, неизбежно вызвала бы напряжение и конфликты на всех уровнях партийного аппарата, поскольку нет информации полностью невинной, а нефальсифицированные сведения использовались бы конкурирующими группами против тех, кто в настоящее время обладает властью. И хотя повсеместный само-

обман на первый взгляд выглядит глупостью, на самом деле он является одним из защитных механизмов системы. Правящие группы когда-то заплатят за этот обман, которые сами и производят, но пока он им выгоден, тем более что большую часть издержек от него несет общество, тем самым усиливая стабильность и безопасность власти.

4. Следующей особенностью социализма в его современной советской версии является неотвратимая интеллектуальная и моральная деградация политического аппарата, который принимает важнейшие для общества решения. Это также свойство функционирования всего механизма, а не результат доброй или злой воли правящих. Механизм этот обуславливает однонаправленную зависимость внутри иерархии, что проистекает из принципа монополии власти; во всех деспотичных системах наиболее эффективными качествами в индивидуальной карьере (т.е. качествами, облегчающими подъем по иерархической лестнице) являются сервизм, подобострастие, малодушие, отсутствие инициативы, готовность к послушанию, доносительство и равнодушие к общественному мнению. А вот способность к инициативе, радение об общих делах, соблюдение критериев правды, предпринимательства и общественной пользы безотносительно интересов собственно власти решительно не поощряется. Поэтому механизм власти провоцирует естественный отбор ущербных руководящих кадров во всех формах управления, а в партийном аппарате тем паче. Четырнадцатилетнее правление Гомулки в Польше является необыкновенно ярким подтверждением этой ситуации. Его заметной особенностью было систематическое обругивание компетентных и одаренных инициативой людей в пользу малодушных и ничтожных. Процесс, который начался с марта 1968 г. – массовое продвижение неучей, доносителей или попросту невежд («нашествие кнопок», как это называлось в Варшаве), – был только интенсификацией явлений, существовавших уже много лет. Безусловно, в нем были исключения, но весьма немногочисленные. Обратные процессы можно было иногда наблюдать в кризисные моменты, однако они не представляли тенденции в системе, которая истолковывала компетентность и способность к инициативе как враждебные по отношению к себе действия. Правда, во многих отраслях экономической и промышленной администрации можно отыскать немало компетентных и предприимчивых руководителей, разбивающих себе лбы о стену равнодушия, страха и беспомощности, на которых держится партийный аппарат. Однако в самом партийном аппарате, особенно в его политических и пропагандистских подразделениях, принцип отбора наихудших свидетельствует о своем триумфе.

5. Деспотические формы управления продуцируют потребность в перманентной, а точнее, периодически повторяемой агрессии. То, что война является гробом демократии, известно давно. Но как раз поэтому она является союзником тирании. В отсутствие внешней войны подобные функции исполняют различные виды вну-

тренней агрессии, целью которых является поддержание в обществе состояния психоза блокадного города хотя бы с помощью искусственных средств и надуманных врагов.

Повторяющиеся акты агрессии против различных групп населения, избираемых согласно самым различным критериям, являются не ошибкой, а естественной функцией механизма власти, который не может обойтись без смертельных врагов, ждущих проявления его малейшей слабости, потому что лишь таким способом может обеспечить себе должную готовность к мобилизации. Этих врагов власть продуцирует по собственной инициативе, чтобы через акты агрессии вызвать враждебность и сопротивление со стороны преследуемых и тем самым создать ситуацию, которая становится предпосылкой для репрессий. Репрессивная система имеет множество способов самоускорения, акты внутренней агрессии одни из самых эффективных.

6. Монополистическая власть имеет потребность в постоянной работе над дезинтеграцией общества ради разрушения всяких форм социальной жизни, не легитимированных правящим аппаратом. Поскольку социальные конфликты не могут быть полностью изжиты, они, утоенные под страхом репрессий и идеологической фразеологии, ищут самые различные способы выражения в разных формах социальной организации и если оказываются вне полицейского надзора, то могут превращаться в оппозиционные объединения. Отсюда происходит стремление к «огосударствлению» всех форм социальной жизни, разрыв всяких неформальных социальных связей в пользу принудительных псевдосоюзов (единственной функцией которых является разрушительная), которые не репрезентируют ничьих интересов, кроме интересов господствующего класса. Насколько система требует врагов, настолько же она боится какой-либо формы организованной оппозиции, потому что желает иметь лишь тех врагов, которых сама себе выбирает и которых будет побеждать в условиях, ею самой определенных. Естественной задачей деспотизма является устрашение людей и лишение их средств организованного сопротивления. Одним из инструментов выполнения этой задачи служит карательное законодательство – устрашающее и всеобъемлющее, – которым охватывается большинство граждан. При этом масштаб актуальных репрессий не должен быть связан узкими правовыми ограничениями, чтобы не препятствовать манипуляциям и произвольным решениям партии и полиции.

7. Правящий аппарат также не обладает свободой в границах тех прав, что определены для обычных граждан. К тому же он не может расширять границы этой свободы, даже если бы усматривал в этом потребность для самого себя. Опыт учит, что уступки в пользу демократической ревиндикации, вместо того чтобы разрешать назревшие проблемы, становятся началом лавинообразного движения, угрожая всему политическому порядку. Социальная несвобода так огромна, а чувство угне-

тения настолько сильно, что наименьшая щелочка в системе институционализованного насилия или самые малые реформы, обещающие ее смягчение, освобождают огромные запасы утаенной враждебности, которые затем удержать невозможно. Поэтому нечего удивляться, что ни социальные достижения, ни даже филантропия правящих, когда они случаются, не могут отменить политической и экономической несвободы трудового сообщества.

Это важнейшие доводы, приводимые в пользу утверждения (согласно с духом марксистской традиции), что свойственная социалистической форме несвобода не может быть ликвидирована частично или уменьшена постепенными реформами, но требует повсеместного уничтожения.

Однако я думаю, что это утверждение является ложным, а его распространение представляется мне скорее идеологией дефетизма, нежели революционным воззванием. Основываю это свое убеждение на четырех общих предпосылках.

Во-первых, мы никогда не можем точно определить всегда пластичные границы всякой социальной организации, а накопленный опыт не подтверждает устойчивого мнения, что деспотическая модель социализма по определению является статичной.

Во-вторых, нежизнеспособность системы во многом зависит от того, насколько люди, в ней живущие, уверены в ее статичности.

В-третьих, приведенное утверждение опирается на идеологию «все или ничего», характерную для людей, воспитанных в марксистской традиции, однако не подтвержденную историческими фактами.

В-четвертых, бюрократическая социалистическая система вовлечена в противоречивые тенденции внутри самой себя, которые она не в состоянии свести в синтезе, что неуклонно ослабляет ее единство, при этом противоречия различных тенденций всегда будут и никогда не ослабятся.

Все названные прежде механизмы, наличие которых должно подтверждать мысль, что социалистический деспотизм не пригоден к реформированию, были неоднократно описаны и непосредственно доступны живущим в тоталитарном мире. Они делают явными естественные тенденции системы, основные формы которой обращены против трудового сообщества. Из этого следует, что если механизмы бюрократической власти функционируют без опоры на общество, то они неизменно будут продуцировать и интенсифицировать все описанные явления, стремясь к оруэлловскому образцу тоталитаризма. Более того, эти тенденции даже не допускают возможности механизмов сопротивления, которые могли бы ослабить тоталитар-

ную систему, давая возможность построения если не совершенного общества, то хотя бы приемлемого для его граждан. Поэтому положение реформатора в тоталитарном обществе достаточно абсурдно. Он должен действовать изнутри власти против нее самой, рассчитывать на филантропию аппарата насилия и поступать наперекор функционированию механизмов самоорганизации системы. Вместе с тем возможность определенных перемен представляется не столь уж абсурдной (по крайней мере в теории), если мы попробуем нащупать узлы противоречий, рожденных внутри самой системы.

Все описанные особенности бюрократического социализма указывают на то, что он имеет встроенные тенденции к непрерывному разрастанию полицейских форм правления, дезинтеграции и деморализации общества, неэффективной экономики и укоренению всех тех характеристик социума, которые делают невыносимой жизнь трудового народа. Однако, с этой точки зрения, подобно обстояло дело и с капиталистической экономикой, по крайней мере той, которую анализировал Маркс. Все естественные тенденции экономики, производственные и социальные, о которых рассуждал Маркс, не были его произвольным вымыслом, но опирались на тщательный анализ общества. В самом деле, было достаточно реальных поводов утверждать, что в капитализм встроены растущая классовая поляризация, неуклонное обнищание пролетариата, падение прибыли, анархия и периодические кризисы перепроизводства, массовая безработица и уничтожение среднего класса. А любые реформы, которые в рамках этой системы можно только представить, будут неустойчивыми и обязательно повлекут за собой «волчий голод добавленной стоимости», определяющий системность промышленных процессов. Поэтому возможность реформ представлялась только в политическом пространстве, а именно в подготовке к борьбе через формирование классовой солидарности пролетариата, необходимой для решающих сражений.

Маркс знал все тенденции, ослабляющие действие законов капиталистической аккумуляции, среди которых наиважнейшей, но не единственной было сопротивление рабочего класса. Однако количественную силу всех этих как положительных, так и отрицательных тенденций исходя из опыта прошлого невозможно было измерить. Потому, хотя анализ Маркса был серьезно обоснован, его предвидение о подавляющей внутри системы силе капитализма относительно требований рабочего класса было всего лишь выражением идеологической перспективы. Поэтому ничто из его предсказаний – деградация и обнищание пролетариата, нарастающая промышленная анархия и кризисы – не подтвердилось. А последующие изменения были не следствием филантропии буржуазии или ее моральной трансформации, а результатом многолетней конфронтации рабочих с капиталом, которая принудила буржуазное общество к признанию принципов социального партнерства в качестве своих основ.

Тем не менее эксплуатация не была ликвидированной, хотя оказалась существенно ограниченной в индустриально развитых государствах, а властвующие

классы согласились на ограничение своих привилегий во имя сохранения того, что можно было сохранить без разрушения общества. Но аналогии подобного рода в случае с социализмом вряд ли уместны. Социалистическая бюрократия извлекла опыт из поражений буржуазии и не допустила как свободы действия, так и свободы информации. Поэтому сопротивление системе советского деспотизма оказалось в самых худших из всех возможных условиях. Никогда в истории правящий класс не располагал таким объемом власти. Однако эта концентрация власти, как показали последующие события, была не только источником его силы, но и слабости.

Природа советской системы требует полной концентрации деспотической власти. В этом смысле власть Сталина была совершенной реализацией принципов деспотического социализма. Однако повторение подобного сегодня вряд ли вероятно, поскольку в нынешней ситуации невозможно согласовывать между собой две ценности, равно важные для правящего аппарата: его единство и безопасность. С одной стороны, конкурентные конфликты внутри аппарата не могут быть институционализированы под угрозой обрушения всей системы, а с другой – такая институционализация означала бы легализацию деятельности различных фракций в партии, что лишь незначительно отличается от многопартийности.

Короче говоря, идеалом социализма остается абсолютная тирания настолько ограниченного идейно и морально тирана, чтобы его не смущали никакие «абстрактные» основания, но вместе с тем и настолько деятельного, чтобы он успевал разрушать кристаллизацию групп в аппарате (с помощью чисток и сокращений) и тем самым удерживать подчиненных в состоянии порядка и страха. Естественно, подобное положение не устраивало аппарат, который – трудно этому удивляться – не желал оставаться в ситуации, когда каждый его функционер, включая членов секретариата и политического бюро партии, мог одним жестом «шефа» перенестись из своего кабинета в подвалы полиции. Потому переход от единовластия к олигархии, называемой «коллегиальным правлением», был обусловлен интересами правящей элиты. Вместе с тем не следует преуменьшать значение этого события, хотя для притесняемых людей нет большой разницы, кто подписывает репрессивные документы, один человек или десять. Очевидно, что олигархия не означает никакой «демократизации», хотя значительно ограничивает террористические формы правления и, более того, серьезно нарушает стабильность власти и ведет к ее неизбежной децентрализации через укрепление позиций руководителей более низкого ранга. Олигархический аппарат уже не в состоянии избежать тайной фракционности и должен генерировать конкурентные фигуры, естественно ослабляющие его эффективность. К слову, отметим, что движение сопротивления наиболее вероятно и эффективно не в разгар репрессий, а в момент относительного их смягчения, в нашем случае спровоцированного дезинтеграцией правящего аппарата (мы должны быть благодарны Ленину за это точное наблюдение). Существующий сегодня аппарат уже не настолько устойчив к идеологическим встряскам, как сталинский, который именно по этой причине после смерти и моральной дискредитации вождя оказался

совершенно деморализованным и разьединенным конфликтами соперничающих групп. К тому же эти группы заинтересованы в утаивании своего наличия, поскольку они не имеют никакого смысла вне политической машинерии. Частичный паралич аппарата естественным путем расширяется, потому что его состояние зависит от нескольких независимых переменных, консолидированный результат которых трудно обеспечить и тем более – предугадать. В этом смысле можно утверждать, что частичная «десталинизация» сталинизма привела в движение механизм деградации власти, который в перспективе делает возможным эффективное движение сопротивления. Иными словами, пока аппарат стабилен и обладает иммунитетом против политических потрясений, он может вообще не считаться с мнением народа. Однако когда эта стабильность утрачивается, то вместо страха перед вождем и собственной полицией появляется страх перед обществом, конкурентом, непосредственным руководителем, рабочим классом, интеллигенцией и даже перед многочисленными группами интеллектуалов.

Следующим неизбежным внутренним противоречием бюрократического социализма является конфликт между потребностью в радикальном изменении идеологии и невозможностью ее поменять.

В отличие от политических органов демократии, которые могут апеллировать к социальному консенсусу как основанию своей легитимности, деспотизм лишен представительских механизмов и неизбежно должен конструировать идеологическую «систему» (хоть какую), чтобы обеспечить законность своего правления. Ни одно государство и ни одна система власти не могут обойтись без легитимации – это одинаково касается как монархической, так и выборной власти. В отсутствие и первой, и второй легитимация происходит через идеологию; в случае с советской деспотией она основывается на утверждении, что правящая партия воплощает интересы всего трудового народа и является частью мирового движения рабочего класса, который победил во многих регионах мира. Идеология, как известно, играет совершенно разные роли в самой системе власти и в ее отношениях с окружающей действительностью. В настоящее время в социалистическом мире для руководящего аппарата идеология является тяжелым бременем, от которого он не может избавиться.

Для советской власти интернационалистическая фразеология выступает чрезвычайно важным элементом, поскольку является единственным легитимирующим фактором ее внешнего господства, к тому же она совершенно необходима для отношений с зависимыми от ее власти иностранными руководителями, поскольку как бы обеспечивает естественность этой зависимости и одновременно законность их собственной власти.

Может показаться, что советские руководители вольны игнорировать неправящие коммунистические партии, которые к тому же не желают сражаться за власть, и что для них проблемы этих партий не имеют никакого политического значения. В действительности это не так, поскольку уход из коммунистического движения в

странах, не подконтрольных советскому аппарату, возможен лишь ценой отказа от основополагающих принципов, которые требуют этого присутствия. Таким образом, правящие советские элиты оказываются жертвами собственной идеологии.

Парадоксально, но идеология, в которую все (сами идеологи, ее распространители и ее потребители) перестали верить, остается чрезвычайно важной для сохранения политической системы.

Это мертвое и теперь уже гротескное произведение под названием марксизм-ленинизм тяжелым бременем висит на шее правящих элит, ограничивая свободу их движения. Увещательная ценность этой идеологии в советских странах никакая, о чем правящим элитам хорошо известно; поэтому пропаганда, не ожидая отклика в обществе, как и в самой партии, все меньше на нее опирается, а сосредоточивается на идеях эффективности государства и национальном интересе. Однако, кроме пропаганды артикулированной, в этих странах существует неартикулированная пропаганда, может быть, даже более важная, нежели первая. Речь идет об определенных идеях и принципах, которые неудобно провозглашать в речах или газетах, но которые необходимо сообщить обществу. Одной из таких идей в Советском Союзе является идея великой империи, которая в той или иной степени господствует над огромными пространствами. Здесь следует заметить, что имперская идеология, в отличие от официального марксизма-ленинизма, вызывает реальное воодушевление. А в странах народной демократии такой негласной идеологией является страх перед советскими танками.

Неартикулированная идеология, в отличие от артикулированной, может рассчитывать на определенный успех; чтобы убедить подконтрольное общество в способности российского руководства подчинить себе любой непослушный протекторат, не нужно публичных заявлений. В определенной степени обе неартикулированные идеологии – центральная и периферийная, – соединяются в своих последствиях, но необходимо понимать, что расчет на них, как на основания устойчивого господства, политически очень близорукий; и не только потому, что неартикулируемая идеология противоречит артикулированной, но и потому, что первая из них может достигать своих целей – временного спокойствия – лишь ценой постоянного подпитывания взаимной враждебности. Следует признать, что в состоянии мира политически это достаточно эффективное средство, но в условиях кризиса оно становится весьма опасным для репрессивной власти. Впрочем, правящий аппарат не имеет, кроме этого, иных политических инструментов, чтобы сохранить хотя бы минимальный контакт с обществом.

Известна славная шуточка Сталина: «А сколько Папа имеет дивизий?» Нищета этого вопроса наилучшим образом оттеняет нищету политической системы, которая утратила все, кроме дивизии (согласен, что это вовсе не мало), не верит ничему, кроме дивизий, и хвастается ими как идеологией здравого реализма, забывая о том, что сама возникла благодаря Февральской и Октябрьской революциям, а не мощи дивизий, которые не смогли предотвратить морального распада царской империи.

Идеологический паралич бюрократического социализма становится все более обширным; очередные совещания и кампании партийных инстанций на тему «идеологической борьбы» могут выработать новые средства репрессий и устрашения, но не в состоянии предложить обществу ничего, кроме все тех же абстрактных фраз. Чтобы отвратиться от этого проклятия, теперь используются фразеологии национализма и эффективности. Но первая из них обладает низкой ценностью потому, что не может разрешить проблему подлинной суверенности народа. А вторая имела бы смысл, если бы могла быть подкреплена реализацией программы, построенной на «технократических» основаниях. Но «технократическая» программа означает примат критериев предприимчивости производителя и технологического развития перед политическими ценностями и как таковая может быть исполнена лишь ценой уменьшения власти правящего аппарата. Здесь мы снова сталкиваемся с тем же самым внутренним противоречием между технологическим развитием и системой политической власти, которая этому развитию препятствует. Это противоречие подпадает под классическое определение Маркса относительно капиталистического производства, но никогда оно не было таким убедительным, как в системе, которая возникла именно для того, чтобы это противоречие ликвидировать.

Однако технологическое развитие (не сводимое только к военной технике) и даже рост потребления (которые приводят к еще большему обнищанию народа и дефициту элементарных товаров) по разным причинам пугают правящий класс; чем выше общее технологическое развитие, тем труднее достигать существенных результатов только в изолированной военной сфере; социальные ожидания людей в значительной степени зависят от сравнения их уровня жизни с высокоразвитыми странами, чего сегодня не избежать, поскольку полная информационная изоляция уже невозможна по многим причинам; в ситуации стагнации даже незначительные попытки, направленные на улучшение сферы потребления, вызывают субъективную неудовлетворенность, обычно нарастающую; при этом никогда нельзя предвидеть, когда эта неудовлетворенность, в совокупности с другими причинами, вызовет социальный взрыв; к тому же в современных условиях невозможно уклониться от международного сотрудничества, даже если оно в определенной степени ограничивает власть придержащих. Правящие элиты, когда говорят о своем стремлении к технологическому развитию и улучшению материального положения народа, находятся в согласии со своими намерениями. Однако эти намерения оказываются в противоречии с другими намерениями, которые касаются сохранения собственной монополии на неконтролируемую власть во всех областях социальной жизни.

Исаак Дейчер надеялся, что социалистическая система будет «демократизироваться» под неизбежным напором технического развития. Но он не учитывал противоречия между технологическим развитием и системой политического и экономического управления. Эти противоречия могут иметь положительный эффект лишь тогда, когда приводят к социальному конфликту между заинтересованными в

сохранении механизма насилия и рабочим классом вместе с интеллигенцией, прежде всего технической и менеджерской.

Внутренние противоречия системы еще более значительны в государствах, зависимых от советской империи. Правящий аппарат стремится к укреплению этой зависимости как гарантии собственной власти, но вместе с тем он заинтересован в расширении свободы принятия решений на местах. Эта ситуация по определению рождает напряжение в политической системе и создает условия, в которых давление общества на власть может быть эффективным.

Суверенность не является достаточным условием социальной эмансипации трудового народа, однако представляется ее необходимым условием. Страх братской опекухи с Востока сознательно распространяется как патриотическая форма подавления даже самых скромных попыток освобождения и как способ убеждения в абсолютной безнадежности подобных усилий.

Целью Польши, как и других стран советской сферы влияния, является не провоцирование вооруженного конфликта, а только непрерывное давление ради уменьшения зависимости, которая лишь таким образом может быть ослаблена. В нашем случае подходы к ситуации, основанные на принципе «все или ничего», означают «ничего». Никто не может утверждать, что нет никакой разницы между положением дел в Польше и Литве или что в суверенности Польши ничто не изменилось к лучшему между 1952 и 1957 гг. Зависимость всегда градуирована, и даже небольшая разница в степени зависимости является необычайно существенной для общества и особенно для гуманитарной интеллигенции (прежде всего той ее части, которая занимается преподаванием).

Если польский народ в свое время и выстоял против русификации и германизации, то это произошло благодаря интеллигенции. Без нее мы оказались бы в ситуации лужицкого народа, который сохранил свой язык, но через отсутствие собственной интеллигенции и оригинальной культуры вряд ли сможет обеспечить ему долгое существование. Польша как культурная целостность сохранилась благодаря создателям Комиссии народного образования и тем, кто продолжал ее дело в XIX в. (учителя, писатели, историки, филологи, философы, которые в тяжелейших условиях работали ради польской культуры). Чешский народ, который был на грани германизации, тоже сохранился благодаря подобным усилиям своей интеллигенции. Поэтому те, кто сегодня подавляют свободное развитие культуры, являются главными врагами Польши.

Если я и высказываюсь за «реформаторскую» идею, то не в том смысле, в котором реформизм определяется как «легальный» путь в отличие от «нелегального». Впрочем, такое различие и невозможно в ситуации, когда законность тех или иных действий определяет не право, а его произвольная интерпретация полицейской и партийной власти. Когда можно арестовывать граждан за чтение запрещенных книг или разговоры на политические темы, за сплетни или неподобающее мнение

в частном письме, то понятие легальности в политическом пространстве лишается всякого смысла.

Я говорю о реформаторской ориентации как о давлении на власть (пусть себе частичном и постепенном) в самой широкой перспективе, т.е. в перспективе освобождения народа и страны. Деспотический социализм не может быть абсолютно неподвижной системой, потому что таких систем в природе не существует. В последние годы его способность к определенным изменениям стала особенно заметной в сужении сферы идеологического руководства. Теперь партийные чиновники уже не должны знать медицину лучше, чем профессора медицины, а филологию лучше, чем писатели. Даже в Польше эти изменения становятся хорошо заметными.

Масштаб вторжения властной идеологии в жизнь общества и теперь ужасает, однако он уже существенно уступает прежнему, когда государственная доктрина определяла ширину юбки, цвет носков и одновременно право на существование генетики. Кто-то может возразить, что это лишь перемены на пути от рабовладения к феодализму. Однако мы стоим не перед выбором между полным упадком и совершенством, а перед выбором смирения с упадком и борьбой за отстаивание ценностей и стандартов, которые, однажды утвержденные, возможно, не дадут себя легко отменить. Культурный погром 1968 г. многих вверг в состояние пассивности, однако в условиях, навязанных аппаратом насилия, этой конфронтации невозможно было избежать. Вместе с тем мы хорошо знаем, сколько раз в мире рушились самые твердые ортодоксии, радикально менялись правила, табу, святыни и верования, которые еще недавно казались абсолютным условием существования человека. Может показаться, что аналогии с церковными переменами вовсе не корректны, поскольку церковь не имела полиции и тюрем. Однако и церковь лишилась средств принуждения в результате системного давления культуры, а полиция от начала своего существования всего только обманывает и саму себя, и других своей всесильностью, поскольку лишь верой в эту всесильность и держится ее власть. Но перед массовым общественным давлением полиция оказывается беспомощной, а ее страх становится более сильным, чем у преследуемых.

Бюрократический социализм утратил свою идеологическую основу. Невзирая на всю монструозность сталинизма, сталинистский партийный аппарат, особенно в странах народной демократии, был несравнимо более связан с идеологией, чем нынешний. Вместе с тем современный партийный аппарат, члены которого цинично меряют достижения социализма собственными привилегиями и карьерой, является более эффективным относительно прежнего, потому что избавлен от бремени ошибок прошлого, равнодушен к идеологическим кризисам, готов к масштабным переменам и лучше приспособлен к манипуляциям конкретными событиями. Однако, как было и раньше, он остается непрофессиональным и поэтому неспособным выдержать серьезные испытания. Из-за своей клановости он не только подвержен самораспаду, но и представляет собой свидетельство исторического угасания системы, которой служит. Система, которую никто не защищает бескорыстно, – приговорена

(цитирую это выражение по книге Виктора Сержа о царской охране). Правда, этим словам не поверит ни один полицейский, но только пока не потеряет своего положения. Деспотический социализм умирает медленной смертью, описанной еще Гегелем: он выглядит неуязвимым, однако на самом деле погряз в тяжелой нужде и оцепенении, которые разнообразит общий страх всех перед всеми, реализующийся в агрессии. Утрата идеи для этой системы является утратой смысла существования. Обратим внимание на фразеологические перемены: рот Сталина постоянно извергал слово «свобода» в то время, когда кровь лилась по всей его империи; сейчас, когда резня утихла, слово «свобода» ставит на ноги полицию. Потому что такие слова, как «свобода», «независимость», «право», «справедливость», «правда», сами по себе выступают против бюрократической тирании. Все, что обладает ценностью в современной культуре, поработанной этой системой, обращается против нее.

Международное коммунистическое движение уже перестало существовать. Также перестала существовать идея коммунизма в советской версии. Вместе с тем вполне правдоподобно, что в условиях свободы выбора значительная часть рабочего класса и интеллигенции высказалась бы за социализм, как высказывается за него и автор этих строк. Но за социализм как за суверенный народный орган, через который общество имеет контроль над средствами производства и распределением доходов, а также над административно-полицейским аппаратом, работающим ради общества, а не использующим его для своей власти; за социализм, исповедующий свободу информации и коммуникации, политический плюрализм, различные формы собственности и независимость профессиональных объединений, а также свободу от произвола политической полиции через уголовное законодательство, целью которого будет охрана общества от преступников, а не превращение в преступников всех граждан ради их тотального шантажа.

Насколько такой социализм возможен, в значительной мере зависит от веры общества в его возможность. Форма каждого общества самым непосредственным образом связана с его представлениями о самом себе. В общественных переменах нет чистой возможности, утаенной в каких-то глубинах и независимой от того, в какой степени она является осознанной возможностью. Поэтому в странах социалистического деспотизма инициаторы надежды закладывают начала движения, которое сделает эту надежду реальностью (в знании общества о самом себе предмет и объект частично совпадают).

Идея, что современная форма социализма статична и жестко зафиксирована, а потому может быть разрушена только мощным ударом, подобным землетрясению (и, как следствие, никакие частичные перемены не имеют серьезного социального смысла), часто используется в оправдание оппортунизма и вообще свинства. И действительно, если никакие персональные или коллективные инициативы, противодействующие монструозности неосталинского бюрократизма, никакая борьба за правду, компетентность, ответственность и справедливость не имеют реального значения, то зачем тогда бороться. При таком допущении всякое индивидуальное

свинство имеет для себя оправдание, потому что может быть интерпретировано как составляющее универсального свинства, которое пока неистребимо, а значит, его основания находятся не в индивиде, а в системе. Поэтому идея неререформируемости социалистической системы легко оправдывает пассивность, трусость и даже кооперацию со злом. Возможно, именно этим обстоятельством объясняется и тот факт, что большая часть польской интеллигенции проявила пассивность в драматических столкновениях польских рабочих с властью в январе 1970 г.

Сильнее всего может повредить делу польской независимости и демократии укрепление в обществе традиционных антироссийских стереотипов. Российский народ, который под властью большевиков выдержал самые страшные в новейшей истории репрессии и дальше продолжает служить инструментом имперской политики. Но при этом он сам является ее главной жертвой. Помимо определенного риска, который всегда несет в себе национализм, в ситуации увядания интернационалистической идеологии он становится базовым методом сохранения власти.

«Дружба народов» в правительственной политике означает провозглашение то-стов на тему дружбы, визиты политических элит друг к другу и дни культуры, густо обставленные полицейским надзором. Но реальная дружба и понимание между народами, исторически враждебными, может возникнуть только в неконтролируемых контактах и обменах (именно этого политический аппарат наиболее боится). Польский антироссийский национализм способствует усилению великорусского национализма и укрепляет рабство обоих народов. Печально повторять истины, которые уже давно (с эпохи Весны Народов) сделались банальными, но их необходимо повторять, пока национализм обладает реальной силой.

Тот, кто вместо усвоения культуры России утверждает в Польше антироссийские стереотипы, является бессознательным помощником деспотической власти, которая угнетает оба народа.

Несмотря на военную мощь советской империи и вторжение в Чехословакию, внутренние противоречия в «блоке» усиливаются, а националистическая коррозия все с большей силой разъедает организм, лишенный идеологической целостности. Но не в интересах ни одного народа разжигание национальной ненависти, которая способна закончиться апокалипсической резней. Противостоять этой ужасающей перспективе можно только через братство народов, направленное против поработителей.

Суммируем. Остановленная собственной инерцией посреди молчания и страха, система будет скрывать свое поражение, множа насилие. В этом случае разрастание полицейских методов засвидетельствует не рост сопротивления, но, напротив, его отсутствие. Пластичность этой системы – пластичность ее границ, которые абстрактно определить невозможно, – будет обнаруживаться только в процессе ее реинсталляции; но пластичность также может объявиться в духе, выражающем потребности общества и в результате его давления, свидетельством чего является и эта лекция.

Тот, кто считает, что платит за свой покой лишь незначительными уступками, скоро убедится, что цена этого покоя все время возрастает; кто сегодня платит невинным подхалимством, завтра заплатит доношением за тот самый товар; тот, кто свои привилегии пока заслуживает лишь молчанием перед свинством, через некоторое время будет вынужден принимать в нем активное участие. Естественным правом деспотии является требование все более дорогой цены за те блага, которые она раздает (если только общественное давление не принудит ее к понижению этой цены).

Согласен, из сказанного мной вырисовывается не слишком веселая перспектива, но и не фантастическая, в отличие от тех перспектив, которые приглашают рассчитывать на чудо, внешнюю помощь или автоматическое самоналаживание испорченного механизма, оставленного один на один с собственным беспорядком. Для нас самым важным является то, что средства давления на власть находятся под рукой, что они есть в распоряжении каждого. Следует лишь сделать естественные выводы из тех простейших правил, которые запрещают умалчивать о свинстве, ломать шапку перед господином, получать подачки за покорность и т.п. Из собственного достоинства черпаем мы право на старые слова «свобода», «справедливость» и «Польша», которые желаем произносить в полный голос.

Перевод с польского Олега Бреского

ВЫСТРАИВАНИЕ ПОГРАНИЧЬЯ: АНАЛИЗ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ИМПУЛЬСОВ

Пожалуй, самым замечательным примером работ по теме Пограничья служат книги английского политического географа Джона Хауза, посвященные границе между США и Мексикой, которую он долго изучал в экспедициях. Этот рубеж – едва ли не наиболее яркое свидетельство «асимметричной» политической границы, разделяющей лидера индустриального мира и значительно более слабую в экономическом отношении, хотя тоже весьма крупную, страну Латинской Америки.

Американо-мексиканская граница относится к самым неизученным и традиционно привлекает внимание исследователей – в США ею занимается целый институт, расположенный в Техасе. Джон Хауз разработал специальную методическую схему изучения приграничных ситуаций и детальную классификацию трансграничных потоков. Согласно его исследованиям, положение в приграничной зоне определяют структурные экономические и социальные факторы (в основном трансграничные взаимодействия, в большой степени зависящие от специализации хозяйств), политическая культура населения, субъекты политической жизни (элиты, группы интересов, общественные движения, партии, лидеры) и социальные институты, в том числе системы образования, здравоохранения и социального обеспечения.

Джон Хауз подробно разработал типологию едва ли не всех возможных трансграничных взаимодействий – в области подвижности, трудовых миграций, движения товаров и капиталов. В сфере трудовых взаимоотношений он выделил миграции: ежедневные (челночные), еженедельные, сезонные, легальные, нелегальные и профессиональные (квалифицированных специалистов). В области недвижимости – использование природ-

ных ресурсов, в том числе сельскохозяйственных земель и рекреационных, владение «вторыми жилищами» (дачами). Большое внимание он уделил нематериальным факторам – политической культуре, выраженной в коллективных представлениях, системе ценностей, мифах и стереотипах, а также «трансграничному» манипулированию общественным мнением (на разных уровнях). Согласно Джону Хаузу, все эти разнообразные структурные факторы и взаимодействия создают в приграничной зоне поле напряженности. Власти приграничных районов пытаются регулировать эту напряженность либо «спуская пар» в открытых конфликтах, либо сотрудничая с противоборствующей стороной [3].

Новый взгляд на Пограничье состоит в том, что природу границы сегодня нельзя изучать только как разделительную черту между двумя странами. Во все более взаимозависимом и интегрированном мире заметную роль играют наднациональные организации, например «единая Европа» (т.е. государства Европейского союза). Барьерная функция границы сильнее там, где она разделяет не страны, а военно-политические или экономические блоки.

Однако граница существует не только на картах и земной поверхности, но и в представлениях разделенных между собой людей. К сожалению, средствами русского языка различие между межевыми смыслами может быть передано лишь описательным образом, поскольку в нем отсутствуют специализированные термины для выражения различных смыслов понятия «граница». Поэтому нам придется прибегнуть к помощи английского языка, в котором имеются три термина, подходящих для обозначения разного состояния «границ» – *boundary*, *border* и *frontier*.

Термин *boundary* отражает универсальное понимание границы как *естественного* внешнего предела, который не подлежит сомнению и не требует рефлексии. Это предел чего-то значительного и органичного, граница, обозначенная самой природой или данная историей и потому не нуждающаяся в дополнительной легитимации. Напротив, *border* чаще используется в тех случаях, когда необходимо указать на наличие юридически зафиксированной границы между двумя разделенными пространствами, в том числе – между территориями двух государств. В то же время *border* обозначает и некоторую часть пространства, непосредственно прилегающую к зафиксированной границе, т.е. то, что по-русски называется пограничьем. При этом, однако, *border* как пограничье само характеризуется достаточно четко: это прилегающее к границе административное подразделение. Очевидно, что в обоих случаях категорию *border* отличает осязаемый политико-юридический аспект: она акцентирует внимание на границе и пограничье как на установлениях, формальным образом организующих и упорядочивающих определенную территорию и отношение к ней.

Frontier тоже указывает на разделение пространства, в том числе по признаку его государственной принадлежности, и на пограничье. Но в обоих значениях эта категория подразумевает *противопоставление* одной территории другой. Соответственно, в значении «государственная граница» *frontier* подчеркивает наличие

разделительной черты, снабженной всеми необходимыми атрибутами разграничения пространства – таможенной, пограничной службой, контрольно-пропускными пунктами и т.п. А вот в значении «пограничье» *frontier* скорее указывает на нечто неопределенное и даже подвижное, на *пояс* земель, в восприятии которого доминируют не количественные параметры (точно отмеренная ширина или площадь), а качественные (обычно – отчужденность, неопределенность, неосвоенность) [1].

Итак, «идеальная граница» может быть определена как этноареальная (*boundary of ethnic area*), а «реальная граница» – как государственная (*state* или *nation-state border*). Но если сопоставить реальную границу с идеальной, то окажется, что на одних участках они всего лишь расходятся между собой, а на других идеальная граница вообще с трудом улавливается сознанием. Территории, попадающие в створ между двумя этими границами, как и ускользающие от кодификации, и образуют фронтир (Пограничье) [1].

Границы невозможно изучать в отрыве от проблем идентичности – самоидентификации человека с определенной социальной и/или территориальной группой, прежде всего этнической. Национализм всегда предполагает борьбу за территорию или защиту прав на нее. Националисты, как правило, стремятся к переделу политической карты – или путем расширения своей этнической территории, или за счет вытеснения из нее «чужаков». Территория занимает центральное место в так называемых примордиалистских теориях нации (от англ. *primordial* – изначальный, исконный).

Право наций на самоопределение теоретически лежало и в основе государственного устройства СССР: официально считалось, что все народы реализуют это право в рамках социалистической федерации, в которой для многих из них создавались государственные образования. Оставалось только решить, какие этнические группы имели право на свою республику или автономию, а какие подлежали ассимиляции или этнической интеграции (например, предполагалось, что субэтнические группы грузин или русских интегрируются в социалистические нации), а затем провести границы каждого национального образования. В бывшей Российской империи при крайне сложном многонациональном составе населения и смешанном характере проживания многих этнических групп эта задача оказалась неразрешимой. Попытки провести жесткие границы между автономиями часто приводили к обострению национальных конфликтов.

В противоположность примордиалистским концепциям, сторонники инструменталистских теорий нации понимают их как современные общности, объединенные политическими интересами и значимыми характеристиками, а их общие генеалогические и географические основания являются только мифами, которые можно использовать для укрепления политических сообществ.

К данному типу теорий принадлежит и господствовавшая в культурной антропологии до середины 1970-х гг. (выдвинутая американскими антропологами и социологами) теория так называемого «плавленного котла» (*meltingpot theory*). Она

рассматривала этнические группы как пережитки доиндустриальной эпохи и считала, что в современном мире значение этнических общностей и этнических чувств будет постепенно минимизироваться в процессе аккультурации меньшинств, структурной и языковой ассимиляции.

Основные положения теории этнической идентичности сформулировал российский этнолог В.А. Тишков:

- этнические общности существуют на основе историко-культурных различий и являются социальными конструкциями, возникающими и существующими в результате целенаправленных усилий граждан и создаваемых ими институтов, особенно – государственных. Суть этих общностей составляет разделяемое людьми представление о принадлежности к общности, или идентичность, а также возникающая на ее основе солидарность;

- границы общностей, образуемых на основе избранных культурных характеристик, и содержание идентичностей подвижны и изменяются в историко-временном и ситуативном планах;

- создаваемая и основанная на индивидуальном выборе и групповой солидарности природа социально-культурных общностей определяется их целями и стратегиями, среди которых: организация ответов на внешние вызовы через групповую солидарность, общий контроль над ресурсами и политическими институтами, обеспечение социального комфорта в рамках культурно однородных сообществ [4].

Состязательная природа идентичности выстраивается через диалог и властные отношения между социальными группами, социальной группой и государством и между государствами.

Обычно конкурируют две формы групповой идентичности: культурная (прежде всего этническая) и политическая, которые отражают наличие наиболее мощных форм солидарности – этнических общностей и государственных образований.

Элиты в стремлении мобилизовать этническое сообщество на борьбу с противниками или с центральной государственной властью используют старые или мобилизуют новые «маркеры» – групповые черты и символы, исторические мифы и социальные представления, противопоставляющие «нас» («своих») – «чужим».

Особенный размах процесс культурной дивергенции приобретает в том случае, если ему на службу поставлено государство, как это произошло в республиках бывшего СССР. Ведущей силой в строительстве новых этнических идентичностей здесь стали политические элиты, заинтересованные в своей легитимации и сохранении статуса, позволяющего им контролировать экономические и иные ресурсы.

В процессе национального и государственного строительства очень часто формируются новые границы, приграничные зоны и отношения между соседями. Поэтому исходным пунктом исследований современных границ должно быть изучение возникновения и эволюции территориальных идентичностей.

Проблема идентичности неразрывно связана с анализом функций государства. В XX в. идеал нации-государства, объединяющего преимущественно однородную

этническую группу с общим языком и культурой и легитимированного демократическими процедурами выборов, сильно поблек. Кровавые события во многих регионах мира показали его существенные недостатки: этнических групп в мире всегда будет больше, чем государств, причем очень многие народы исторически делят территорию со своими соседями.

В наше время нация-государство представляет собой политическую территориальную единицу с четкими и признанными международным сообществом границами, в пределах которых население обладает определенной политической идентичностью, сформированной, как правило, националистически настроенными политическими элитами.

Национализм представляет собой особый тип территориальной самоидентификации человека и территориальную форму идеологии. Цель национализма – создать этническую идентичность, элементом которой являются определенные географические границы. Неразрывная классическая триада «нация – территория – государство» возникла в Европе в начале XIX в.

Классический пример создания национального государства «сверху» на основе общегосударственной (политической) идентичности – Франция. Эта страна превратилась в мощную европейскую державу лишь тогда, когда большинство ее населения, независимо от этнического происхождения – бретонцы, эльзасцы, каталонцы, баски, фламандцы и др., – начало осознавать себя французами. Это произошло относительно недавно, в 1870-х гг., когда:

- территория страны была окончательно «скреплена» прочными рыночными связями благодаря густой сети железных и других дорог («железнодорожный империализм»);
- популярные ежедневные газеты представили публике образ единого французского народа;
- была создана система вторичной социализации граждан через введение всеобщей воинской повинности и единую систему обязательного начального, а затем и среднего образования с общими для всех программами и преподаванием на нормативном французском языке (за разговоры в школе, например, на бретонском учеников наказывали);
- централизованная административная и церковная системы внедрились, выражаясь современным языком, ротацию кадров по всей стране, и выходца из Парижа могли назначить на административный пост в Бретани, и наоборот [2].

Как показывает пример Франции, использование общего языка – одно из важнейших условий формирования политической и/или этнической идентичности. Способствуя ее созданию, государство вырабатывает свою иконографию – систему символов, образов, национальных праздников, парадов, фестивалей, публичных церемоний, манифестаций и традиций – всего того, что помогает укреплять национальную солидарность и акцентировать различия между народами различных государств.

Иконография также включает в себя систему национальных стереотипов, через призму которых воспринимается отечественная история, территория и место страны в мире, ее «естественные» союзники и враги и благодаря которым создается геополитическая доктрина страны. Английский антрополог Б. Андерсон заметил, что национализм нацелен внутрь, чтобы объединить нацию, и одновременно вовне, чтобы отделить нацию и ее территорию от соседей [5].

Иногда национализм формирует «территориальную идеологию», оправдывающую притязания к соседям и необходимость в дополнительном «жизненном пространстве». Негативные национальные стереотипы укореняются особенно успешно, если национальные элиты ощущают угрозу территориальной целостности и культуре своего этноса, тогда эти представления становятся ключевыми элементами территориальной идентичности. Этническая и политическая идентичность порой играют гораздо большую роль в создании стабильного государства, чем общность расы, языка, религии. Знаменитая максима, приписываемая итальянскому государственному деятелю д'Аджелио, – «Мы создали Италию, теперь мы должны создать итальянцев» – сохраняет свою значимость для политических элит многих новых независимых государств. Без политической идентичности государство превращается в мозаику различных этнокультурных регионов.

Хотя этническая идентичность по-прежнему занимает центральное место в территориальной самоидентификации человека, ее роль постепенно падает. До сих пор многие считают, что каждый гражданин должен иметь единственную этническую идентичность и жить в своем национальном государстве. Однако становится все более ясно, что многие, если не большинство из нас, идентифицируют себя сразу с несколькими территориальными и/или этническими общностями. Систему территориальных идентичностей можно представить в виде матрешки. Так, в Восточной Украине специалисты насчитывают до шести уровней этнической и территориальной идентичности (советскую, русскую, украинскую и несколько региональных) [2].

Поскольку национальные, этнические, региональные и локальные идентичности часто накладываются друг на друга (многие из них находятся в «спящем» состоянии), различные субъекты политической деятельности (центральные и местные органы власти, партии, лидеры) ради увеличения числа своих сторонников стараются активизировать существующие или «разбудить спящие» идентичности.

Соотношение между различными этническими и территориальными идентичностями в наше время подвержено быстрым изменениям, что неминуемо ослабляет стабильность мировой системы политических границ.

Согласно структуралистской теории Э. Гидденса, функции государства ныне значительно усложнились. Оно теперь является связующим звеном между интегрирующейся мировой экономикой и повседневной жизнью человека, своеобразным буфером, смягчающим удары мировой экономической стихии по занятости и благополучию конкретных людей.

Однако современное государство все больше теряет свое значение, одновременно подвергаясь давлению и «сверху», и «снизу». Давление «сверху» носит преимущественно экономический характер и связано с уменьшением возможности государства влиять на деятельность транснациональных корпораций и функционирование своей экономики (на глобальном и макрорегиональном уровнях). Давление «снизу» вызвано главным образом растущей активностью этнических и региональных движений, развивающих идентичности, конкурирующие с государственной. Национальное государство, таким образом, сегодня представляет собой лишь один из пяти уровней мировой системы управления, хотя по-прежнему наиболее существенный (рис. 1).

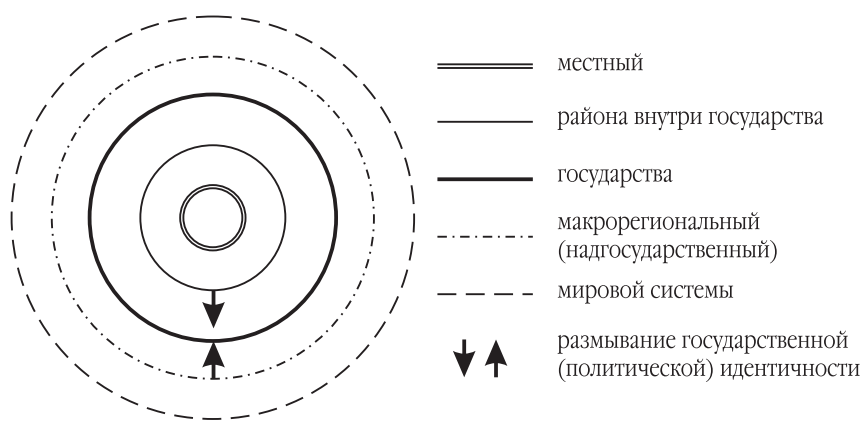


Рис. 1. Типы политических границ согласно теории мировых систем [2]

Среди перечисленных есть два уровня, которые все заметнее влияют на функции политических границ и ситуацию в приграничных зонах (хотя и в разной степени в различных частях мира), – макрорегионов (состоящих из групп стран) и отдельных районов (внутри стран).

Процессы глобализации создают и новые идентичности. Самая известная из них складывается в Западной Европе, где экономическая интеграция развивается наиболее успешно. При этом усиление наднациональных институтов ЕС и создание макрорегиональной общевропейской идентичности идет параллельно с формированием «Европы регионов».

Этот процесс прежде всего выражается в широкой децентрализации и регионализации в странах-членах ЕС, опирающихся на старые региональные этнические и региональные идентичности. Эти регионы связаны не столько с нынешними административными единицами, сколько с давно упраздненными историческими провинциями, границы которых сформировались в докапиталистическом прошлом. Трансграничные регионы, как, например, знаменитый *Regio Basiliensis* (Ба-

зельский регион), привлекают особое внимание функционеров ЕС и наделяются специальными полномочиями. Пользуясь ими, власти трансграничных регионов (располагающих собственными бюджетами) превращаются в самостоятельных субъектов политической деятельности. Эта тенденция еще более ослабляет роль государственных границ, часть функций которых переходит к границам макро-региональным (всего ЕС), а другая часть – к региональным, что заметно влияет на трансформацию всей системы мировых границ.

Содержание наиболее значительной макрорегиональной идентичности – западноевропейской – уже давно занимает теоретиков, в том числе и географов. Хотя европейская идентичность пока еще относительно слаба и ее содержание меняется от страны к стране, общеевропейская иконография уже активно внедряется в странах Европейского союза. Приставка «евро» становится привычной для жителей стран ЕС: так называется действующая с 1 января 1999 г. единая валюта; скоростной поезд «Евростар», за три часа доставляющий пассажиров через тоннель под Ла Маншем из Лондона в Париж, где они имеют возможность сходить в парк развлечений «Евродиснейленд»; в Брюсселе можно посмотреть точные макеты знаменитых памятников архитектуры из всех стран ЕС в «Евродеревне»; в каждой стране распространяется общеевропейская газета «European» и т.д.

Ни у кого не вызывает сомнений, где проходят западные границы «Европы», а вот с восточными и отчасти с южными границами ситуация выглядит не столь однозначно.

Доступная и понятная каждому теория Хантингтона объясняет существование в мире устойчивых геополитических разломов, совпадающих с границами между цивилизациями. Но американский политолог К. Боулдинг еще в 1962 г. выделил особый вид границ между макрорегионами, так называемые критические границы.

Концепция Боулдинга связана с понятиями сфер влияния и жизненных интересов. Каждая держава имеет за рубежом свой радиус влияния, негласно признанный международным сообществом, в котором она не терпит активного присутствия других государств. Доктрина Монро или так называемая доктрина Брежнева – реальные примеры концепции критических границ. Кубинский ракетный кризис 1962 г., едва не вызвавший Третью мировую войну, или военное вмешательство СССР в Афганистане в конце 1979 г. также подтверждают концепцию Боулдинга.

Болезненная реакция Москвы на расширение НАТО на восток показывает, что болезненная чувствительность в пределах старых критических границ существует даже тогда, когда эти боли уже фантомные. В России вообще исторически сильна психология «окруженной крепости» (опасение оказаться в кольце враждебных или недружественных государств).

Один из самых неблагоприятных сценариев для Москвы – формирование непосредственно за ее западными границами так называемого Балто-Понтийского пояса (от Балтийского до Черного моря), отделяющего Россию от Европы. Возможность такого развития ситуации явно просматривалась в начале 1990-х гг., сейчас

эта тема снова реанимируется в связи с событиями в Украине и ростом влияния Польши в Восточной Европе.

Создание политической и этнической идентичности нельзя представлять исключительно как процесс, полностью регулируемый политическими элитами, полагающими, что они действуют в интересах всего населения. Этот процесс – двусторонний, в формировании и консолидации государства местные территориальные сообщества играют значительную роль.

Таким образом, политическая (национальная, или государственная) идентичность остается чрезвычайно важным элементом жизнеспособности государства и центральным звеном в иерархии территориальных идентичностей человека, но вовсе не единственным, а часто даже не главным. Исторически ее возникновению предшествовала локальная и региональная идентичность.

Культурные границы между территориально-политическими системами де-факто могут совпадать с границами государств, экономических и военно-политических блоков, и критическими границами, а могут и не совпадать, располагаясь на территории разных стран.

Новые политические границы на всех иерархических уровнях почти никогда не возникают на чистом месте и крайне редко «ломают» старые границы. Чаще всего культурные границы преобразуются в границы «де-юре».

В свою очередь, «разжалованные» границы де-юре (т.е. ранее официально закреплённые между юрисдикциями и разделявшие политические блоки, государства, районы и провинции) не исчезают совсем. Обычно они остаются заметно выраженными в культурном и политическом ландшафте, а часто даже визуально различимы на местности.

Но границы «де-факто» могут при определенных обстоятельствах (вследствие раскола страны или в результате значительных изменений в ее политическом режиме, связанных с трансформацией государственного устройства) вновь обрести официальный статус политико-административных или даже государственных.

Культурная граница, или граница «де-факто», выполняет прежде всего внешние функции контакта между культурами, тогда как границы «де-юре» – внутренние, обеспечивая суверенитет и территориальную целостность государства, социальную и этнокультурную интеграцию его населения. Государственные границы – это прежде всего линии раздела, символы независимости, физически выраженные в пространстве (пограничные посты и таможни, контрольно-следовые полосы и т.п.).

Яркий пример сложностей взаимосвязей между внешними и внутренними границами (между границами «де-юре» и «де-факто») – современная Украина. Наиболее сильна украинская этническая идентичность, как известно, в западных областях, которые входили в состав одного с Россией государства лишь в течение короткого периода 1939–1991 гг., да и то за вычетом нескольких лет оккупации во время Второй мировой войны. Небольшая река Збруч, отделяющая нынешние западные области от остальной части Украины, много лет служила границей между Российской и

Австро-Венгерской империями. В советское время, после присоединения западных областей Украины к СССР, эта граница была «разжалована» в административную, отделяющую Тернопольскую область от Хмельницкой. Однако это не только административный рубеж, но и ярко выраженная культурная граница между разными районами Украины (Подолом и Галицией), которая отчетливо просматривается на всех электоральных картах.

Достаточно пересечь Збруч, и разница в культурном ландшафте видна невооруженным глазом: на галицийской стороне бросаются в глаза многочисленные часовни, распятия на перекрестках, храмы, принадлежащие униатской и католической церквям. Многие села своими примыкающими друг к другу двухэтажными домами скорее похожи на небольшие центральноевропейские городки («местечки»). Эти дома, в которых до войны, как правило, проживало преимущественно польское и еврейское население, разительно отличаются от традиционных украинских хат к востоку от Збруча, окруженных палисадниками и огородами.

Впрочем, в истории не однажды случалось, что новые государственные границы не совпадали с культурным пространством. Но даже когда территории присоединялись вопреки воле их жителей, государственная граница постепенно трансформировалась в культурную, в «шрам истории» на карте страны или региона. Наличие единого правового, экономического и информационного пространства вольно или невольно унифицирует всю культурную ситуацию в пределах государственных границ. Поэтому выстраивание пространства Пограничья – это зачастую переосмысление статуса культурно-исторических границ.

Как уже отмечалось, самоидентификация человека с определенной территорией – этнической и/или политической – всегда носит иерархический характер. Обычно человек ощущает себя одновременно и гражданином своей страны, и представителем какого-то ее региона, и жителем своего поселения. При этом разные уровни территориальной идентичности могут играть различную роль – подчиненную или господствующую. Абсолютно неизменных, вечных идентичностей не существует. Государство и политические элиты должны постоянно бороться за лояльность граждан, изыскивать все новые «маркеры», отличающие «своих» от «чужих». Почти всегда в каждой стране конкурируют несколько концепций политической идентичности, соответствующих разным внутри- и внешнеполитическим ориентациям.

Этническая, или, точнее сказать, этнотерриториальная, идентичность – лишь один из видов иерархически соподчиненных идентичностей, причем не самый важный. Но если она приобретает слишком большой вес в самоидентификации социальной общности, значит, общество нездорово.

Основные виды территориальной идентичности – этническая и национальная (политическая, государственная) – могут существовать в согласии, но нередко они находятся в остром конфликте, от исхода которого зависит вся система политических границ. Обычно идентичность меняется крайне медленно, однако в крити-

ческих обстоятельствах радикальные сдвиги в ней могут произойти за считанные месяцы.

Многие политологи пытались объяснить, как могло случиться, что около 3/4 электората Украины проголосовало на референдуме 17 марта 1991 г. за сохранение Советского Союза, а всего через семь с половиной месяцев, 1 декабря 1991 г., те же 3/4 высказались за независимость страны, и административные границы между Украиной и Россией превратились в государственные... Представляется, основная причина этой метаморфозы в том, что тогда в одном направлении действовали два мощных фактора: большинство избирателей, по крайней мере в Восточной и отчасти в Южной и Центральной Украине, таким образом стремилось избежать угрозы голода, исходившей, согласно распространенному представлению, от России, а правящая номенклатурная – непредсказуемости политики Кремля (захваченного «демократами»), который мог лишить ее власти и привилегий. Поэтому пропаганда временной коалиции националистов и коммунистической номенклатуры, противопоставившая жителей Украины («нас») – «другим» в «голодной» России, оказалась весьма эффективной [2].

Обычно выделяется четыре типа этнической идентичности:

- моноэтнический – только на основании одной этнической группы;
- биэтнический или множественный (включающий одновременно две или более этнических групп);
- маргинальный: слабая или нестабильная самоидентификация с двумя или более этническими группами и «шатание» между ними, что может привести к отбрасыванию вообще этнической идентичности – к так называемому этническому нигилизму. Космополитизм может рассматриваться как форма маргинальной идентичности;
- панэтнический, т.е. идентификация с группой, которая включает множество этнических групп (например, восточно- или южнославянская, арабская и т.п.) [2].

Глобализация и, в частности, усиление международных миграций ведут к увеличению числа людей с двойной или даже множественной идентичностью. Иногда разные экстерриториальные идентичности мирно сосуществуют в сознании человека, но порой вступают в острый конфликт, заставляя носителя делать нелегкий выбор или приводя его к отрицанию этнической идентичности вообще (например, в бывшей Югославии последние переписи фиксировали сотни тысяч так называемых югославы, не относивших себя ни к одной этнической группе). На постсоветском пространстве насчитываются многие миллионы людей, имеющих двойную или множественную идентичность.

Согласно концепции либерального национализма, к образованию национального государства приводит естественный ход истории и, следовательно, политическая идентичность развивается на базе этнической. Однако гораздо чаще государства, а не нации создают одновременно и политическую, и этническую идентичность. Перед руководителями новых независимых государств в бывшем

СССР объективно встала задача сплочения разнородного в этническом и культурном отношении населения в политические нации – превращение их в лояльных граждан своей новой страны, разделяющих ее национальные символы, имеющих единые представления о ее истории и границах, традиционных союзниках и потенциальных внешних угрозах.

Кроме того, для многих республик – Украины, Молдовы и др. – актуальной была задача сплочения не только меньшинств, но и самой титульной нации.

В развитых странах граница для прилегающих к ней районов уже давно не является источником угроз, а одной из основ благосостояния, фактор притяжения инновационных и высокодоходных сфер деятельности. Поэтому сегодня уже необходима иная типология границ – «позитивная». Ее основаниями могут быть:

- совместное использования находящихся в приграничной зоне природных ресурсов;
- комплементарность хозяйств приграничных регионов;
- объединение гуманитарных ресурсов, например использование культурного и образовательного потенциала крупного города, расположенного «по ту сторону» границы;
- общее пользование рекреационным потенциалом приграничных территорий;
- коллективные меры по охране окружающей среды (например, трансграничных речных бассейнов), создание и поддержка уже существующих заповедников, мероприятия по предотвращению рисков природных и техногенных катастроф, неблагоприятных и опасных природных явлений;
- зоны свободной торговли или свободного предпринимательства в приграничной полосе;
- возможности предоставления особого статуса приграничным районам с обеих сторон границы.

Приграничное сотрудничество может сыграть большую роль в адаптации этих районов к их новому геополитическому положению. Цель политики Совета Европы и ЕС в отношении приграничных земель – способствовать дальнейшему их превращению из районов с неблагоприятным положением в связующие территории объединенной Европы и двигатель интеграции. К тому же в случае успеха этой политики жители многих трансграничных районов, ранее «задавленных» национальными государствами, смогут реализовать потенциал своих этнокультурных идентичностей.

Литература

1. Панарин, С. Русскоязычные у внешних границ России: вызовы и ответы (на примере Казахстана) / С. Панарин // http://www.archipelag.ru/ru_mir/rm-diaspor/russ/russian-speaking.html

2. Колосов, В.А. Геополитика и политическая география: Учебник для вузов / В.А. Колосов, Н.С. Мироненко. М., 2001.
3. House, J.W. Frontier on the Rio Grande: A Political Geograpy of Development and Social Deprivation / J.W. House. Oxford, 1982.
4. Тишков, В.А. Идентичность и культурные границы / В.А. Тишков; под ред. М. Олкотт, В. Тишкова и А. Малашенко // Идентичность и конфликт в постсоветских государствах. М., 1997. С. 15–43.
5. Anderson, B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism / B. Anderson. London, 1983.

ВВЕДЕНИЕ В ПОГРАНИЧНУЮ ТЕОРИЮ

*І недарма ж на Палесці
Чуў ад стальх я галоў,
Што ў жыцці мы, як у лесе, –
Пад уладай нейкіх слоў.*

Якуб Колас «Сымон-Музыка»

*Чем больше мы используем язык для
взаимодействия с Другими, тем больше
мы понимаем, что язык сам может
быть пластичным, изменчивым и мно-
гомерным инструментом.*

Томас Лунден «На границе:
о людях на краю территории»

Семинар HESP – взгляд участницы

Оформляя заявку на участие в трехгодичном семинаре HESP 2003–2006 гг. «Теория Пограничья в контексте новой гуманистики», пожалуй, мало кто из участников реально представлял, чему конкретно будет посвящен будущий проект, однако в названии семинара каждый находил нечто, близкое к интересующим его темам. И когда в самом начале работы семинара молодые исследователи из Беларуси, Молдовы, Украины, России и Литвы начали составлять план работы на 3 года – программы, курсы, интернет-сайт, статьи, монографии, – оказалось, что основная сложность заключается в содержании: ведь для каждого из нас «Пограничье» ассоциировалось с огромным количеством контекстов и смыслов. Но прежде всего оно воспринималось нами либо как географическое пространство (Беларусь, Украина, Молдова), которое оказалось между центрами доминирующих сил и

поэтому имело черты колониальности и незавершенности (нереализованности)¹, либо как пространство, где взаимодействуют различные культуры, истории, религии и языки². Во втором значении Пограничье было сложно концептуализировать, чтобы понять, где его место в традиционных гуманитарных направлениях – социологии, культурологии, истории и др.

Три года прошли. И естественно задаться вопросом о том, насколько изменилось наше представление о Пограничье и удалось ли нам прийти к его общему пониманию? Это во-первых. А во-вторых, какие теории Пограничья появились в результате работы семинара?

Перед тем как попытаться ответить на эти вопросы, мне хотелось бы сказать несколько слов о самом семинаре. Проект «Восточно-Центральное Пограничье в контексте новой гуманистики» – первое событие такого рода на постсоветском пространстве. Среди нас были историки, политологи, социологи, культурологи, философы, экономисты, юристы – молодые университетские преподаватели. Имена лекторов (здесь приводится неполный список) говорят сами за себя: И. Бобков (философ, Беларусь), В. Абушенко (социолог культуры, Беларусь), Д. Чакробарти (постколониальный исследователь, США), С. Наумова (политолог, Беларусь), С. Хоревский (культуролог, историк, Беларусь), Я. Станишкис (социолог, Польша), Г. Миненков (философ, Беларусь), В. Миньоло (постколониальный исследователь, США), А. Усманова (философ, Беларусь), Г. Гожеляк (регионалист, Польша), М. Буховски (историк, Польша), Е. Гапова (гендерная исследовательница, Беларусь).

Такой разносторонний взгляд на одну проблему сам по себе открыл для участников совершенно новый подход в гуманитарном исследовании. Жесткие границы дисциплинарностей начали размываться. Лобовые столкновения экономиста с историком, юриста с социологом, на мой взгляд, дали плодотворные результаты. Мы живо ощутили, что гуманитарий сегодня не может отгородиться рамками своей дисциплины, поскольку ему необходимо не только привлекать знания из других областей, но и самому формировать трансдисциплинарный подход решения проблемы, с которой он может столкнуться в рамках своей дисциплины, не разрешимой с помощью лишь ее методов. Еще одной положительной чертой, которая не была напрямую связана с теоретической работой по концептуализации Пограничья, явилось создание сообщества молодых исследователей из разных стран Восточной Европы. Ведь именно молодые преподаватели в университетах оказались сегодня заложниками отсутствия финансирования международных проектов. Таким образом, Пограничье для нас явилось подлинной реальностью не только в тематическом значении, но также в дисциплинарном и коммуникативном.

Теория Пограничья в самом общем виде, на мой взгляд, может быть классифицирована как два вида теорий: 1) те, что представляют собой аналитические модели, связанные с географическим пространством – и тогда в их разработке главную роль играют историки, политологи, антропологи, географы, археологи; 2) теории, рассматривающие «а-территориальные» границы (будь то границы воображаемые,

социальные, культурные), – изучать такие границы в рамках определенной дисциплины невозможно. Конечно, если мы говорим о границах социальных организаций, статусов, символических полей, они тоже оказываются привязанными к определенной территории, но здесь методологический подход исследования будет иным, чем в предыдущем варианте. В первую очередь, социального исследователя будет интересовать сам субъект – коллективный (групповой) или индивидуальный и его способность выстраивать границы своего присутствия в публичном пространстве. Именно такое представление о теории Пограничья легло в основу «2-Б модели Пограничья», появившейся как результат исследовательской работы О. Бреского и О. Бреской. Но, прежде чем обратиться к «2-Б модели Пограничья», необходимо вернуться к истории Пограничной теории, которая сама по себе дает ответы на многие вопросы методологии.

Ларец Пандоры

Проблема понятий – одна из важнейших в гуманитарной науке. От того, как определяются те или иные базовые категории, зависят содержание любой теории и, соответственно, анализ эмпирических данных. Эти базовые понятия – своеобразная «таблица умножения», без которой невозможно исследовать социальные процессы. Но в отличие от математики, которая, безусловно, также является гуманитарной наукой, в истории, политологии, культурологии, социологии существует значительная вариативность подобных «таблиц умножения», а в теории Пограничья, которая сама по себе трансдисциплинарна – их количество еще больше возрастает.

Дискуссия о понятиях «пограничье», «граница», «рубеж», «фронтир», «приграничье», «окраина» ведется в интеллектуальной среде Беларуси, России, Украины, Молдовы всего несколько лет. Возможно, поэтому в рамках формирующегося курса теории Пограничья указанные категории используются исследователями в самом разном контексте и смысле³. Такая неоднозначность в употреблении указанных концептов не является только свидетельством различия позиций авторов или нежеланием работать в общей терминологии, но, скорее, следствием ситуации, в которой новая терминология рассматривается исследователями «с той» и «с другой стороны», получая все более глубокое осмысление, а также – умножение значений смыслов. Однако сложность проблемы в белорусском научном сообществе усугубляется еще и фактом несовпадения переводов многих понятий с иностранных языков на белорусский и русский, а также неоднозначностью употребления этих терминов в западноевропейских и американских теориях Пограничья.

Вернуться к вопросу происхождения основных категорий – очень важно. Это не означает, что, разобравшись с иностранной терминологией, нам станет легче пользоваться ее русскоязычными переводами, но, по крайней мере, можно будет определиться с соотношением базовых понятий. Возможно, такая работа также по-

зволить проследить причины интереса к пограничной тематике и обнаружить в Пограничье ранее не запланированные смыслы и перспективы научного поиска.

Сам по себе термин «Пограничье», который является русскоязычной калькой английского термина «Borderland», многозначен. Его использование в европейской и американской научной традиции в начале XXI в. актуально для археологии, истории, социологии, политической науки, гуманитарной географии (human geography), религиоведения, философии. В рамках теории Пограничья возникают исследования разного рода границ – *frontier studies*, *border studies* и *boundary studies*. Каждая категория переводится как «граница», но при этом имеет различный смысловой оттенок. Именно по этой причине в англоязычном гуманитарном пространстве существует несколько Пограничных теорий, которые, постоянно взаимодействуя друг с другом, постепенно стирают собственные границы, превращаясь в одну сложно организованную область научных исследований.

Border studies

Прикладная теория, связанная с изучением бодер-границ, зародилась в 50-х гг. XX в. в США как область исследований приграничных проблем. С 1976 г. в Америке была основана Ассоциация исследования Приграничья (Association of Borderland Studies – ABS)⁴, которая стала лидирующей академической ассоциацией североамериканских ученых, занимающихся изучением приграничных зон. Первоначальный интерес ABS фокусировался на исследовании процессов приграничного региона США – Мексика: проблемах миграции, здоровья, образования, положения женщин и т.д. Центральной категорией Borderland theory выступает понятие «*бодер-граница*», которая концептуализируется не только как физическая линия, но и как «демаркационная линия, символизирующая власть, способную включать и исключать субъектов из определенных отношений»⁵.

К примеру, географическая граница Болонского процесса включает и исключает страны, которые граничат с ним в соответствии с определенным типом договоренностей. Те, кто находится в более привилегированном положении относительно границы, всегда следят, чтобы она не нарушалась. Примером может быть охрана границы США с Мексикой, которая ведется еще и по личной инициативе американцев. Таким образом, *бодер-граница* акцентирует внимание на политическом и социальном характере данного типа демаркации⁶.

Со временем тематика и территория приграничных исследований значительно расширились. Однако Borderland по-прежнему остается категорией, описывающей преимущественно процессы приграничных регионов⁷, а Borderland theory, которую на русский язык все же лучше было бы переводить как теория Приграничья, пытается осмысливать проблемы, так или иначе привязанные к территориальным и географическим локальностям. Культурные антропологи фокусируют свое внимание

История развития теории Пограничья

Этап / период	Доминирующие подходы и методы	Особенности данного периода	Основные концепции	Основные представители	Практическое применение теории
1. С конца XIX в.	Историко-географический подход	Накопление эмпирических данных, детальное картографирование экономической и социальной структур в приграничных регионах, большое количество проводимых кейс-стадий	Появление представлений об эволюции границ и приграничных территорий в пространстве и времени; объяснение свойств и конфигурации границ соотношением сил между государствами, разработкой и переоценкой теории естественных боде́р-границ	Ж. Ансель (Франция), И. Боуман (США), Р. Хартшорн (США), Э. Банес (Германия)	Разграничение, делимитация и демаркация послевоенных границ в Европе; разграничение между колониальными державами в Азии и Африке
2. С начала 1950-х гг.	Типология боде́р-границы	Разработка типологий и классификаций границ; изменение взаимосвязей между барьерной и кон- тактной функциями	Концепции границы и фронтгир; разработка теорий, объясняющих их эволюцию и морфологию	Лорд Керзон, Т. Холдрых (Великобритания), К. Фуусетт (Великобритания), С. Боттс (США)	Разработка геополитических стратегий, раздел мира на сферы влияния ведущих держав, повсеместное применение европейской концепции политической границы как жестко фиксированной на местности линии
3. С 1970-х гг.	Функциональный подход	Исследования транснациональных потоков людей, товаров, информации, взаимовлияния границ и элементов природного и социального ландшафта	Модели транснациональных взаимодействий на разных пространственных уровнях и типология транснациональных потоков; изучение границ как многомерного и динамичного социального явления; разработка концепции пограничного ландшафта и стадий эволюции приграничных территорий	Дж. Прескотт (Австралия), Дж. Хауз (Великобритания), Дж. Мингги (США), М. Фуше (Франция), Дж. Блейк (Великобритания), О. Мартинес (США)	Переговоры по пограничным вопросам, практика транснационального сотрудничества и регулирование социальных процессов на приграничных территориях, демаркация и делимитация новых политических границ
3. С 1970-х гг.	Политологический подход	Изучение роли границ в международных конфликтах	Взаимосвязь между особенностями границ и их ролью в инициировании, эволюции и разрешении конфликтов; границы как данность	Дж. Герц, П. Диль, Т. Гарт, Х. Старр, Э. Кирби, М. Уорд (все – США) и др.	Урегулирование и разрешение пограничных конфликтов, восстановление и поддержание мира

Пост-модернистский период развития теории Приграничья

<p>4. С 1980-х гг.</p>	<p>А. Мировые системы и территориальные идентичности</p>	<p>Бодер-исследования на различных взаимосвязанных уровнях в зависимости от развития территориальных идентичностей и роли бодер-границы в иерархии политических границ в целом</p>	<p>Моделирование отношений между границами и иерархией территориальных идентичностей</p>	<p>Использование проблемы границ пограничных конфликтов в национальном и государственном строительстве</p>	
<p>Б. Геополитические подходы</p>	<p>В1. Воздействие глобализации и интеграции на политические бодер-границы</p>	<p>Представления о процессах «де-территориальности» и «ре-территориализация» (перераспределение функций между границами различных уровней и типов) и о развитии системы политических и административных границ</p>	<p>А. Пааси (Финляндия), Д. Ньюмен (Израиль), Дж. О'Люклин (США), П. Тейлор (Великобритания), Т. Лунден (Швеция), Дж. Уотерберри и Дж. Экклсон (Великобритания) и др.</p>		
<p>В. Бодер-границы как социальные репрезентации</p>	<p>Бодер-граница как социальный конструкт и зеркало социальных отношений в прошлом и настоящем; роль бодер-границ как социальных символов и их важность в политическом дискурсе</p>	<p>Роль границ в охране стран и регионов; различие в традиционных и постмодернистских представлениях об этой роли; изучение влияния гео-политической культуры на функции бодер-границ в сфере безопасности</p>	<p>Подходы к изучению бодер-границ как важного элемента этнических, национальных и других привязанных к территории идентичностей</p>		
					<p>Разработка принципов пограничной политики и пограничного сотрудничества, создание еврорегионов и других трансграничных регионов</p>

	<p>Г. Практика – восприятие</p>	<p>Отношения между политической, определяющей прозрачность бодер-границы, ее восприятие людьми и практики действий, связанные с этой бодер-границей</p>	<p>Влияние политики бодер-границ, практики и восприятия на процессы управления приграничными районами и приграничным сотрудничеством</p>	<p>Х. ван Хотум и О. Крамш (Нидерланды), Дж. Скотт (Германия)</p>	<p>Управление приграничными районами и приграничным сотрудничеством; регулирование международной миграцией и другими трансграничными перемещениями; региональная политика</p>
<p>Д. Экополитика</p>	<p>Взаимодействие между естественной и политической бодер-границами</p>	<p>Функция естественных и политических бодер-границ как интегративных систем и управление трансграничными социо-экологическими системами</p>	<p>О. Янг, А. Уэстлинг, Г. Уайт (США), Н. Клиот (Израиль), С. Долби (Канада), Дж. Блейк (Великобритания), Н.Ф. Глазовский, С.П. Горшков, Л.М. Корятный (Россия) и др.</p>	<p>Решение глобальных и региональных/экологических проблем; управление международными речными бассейнами</p>	

на Приграничье как месте, где образовались или формируются новые локальные сообщества⁸.

Анализ развития теории Приграничья как области бодер-исследований, принятый В. Колосовым, руководителем Центра геополитических исследований Института географии РАН⁹, помогает увидеть взаимодействие теории Приграничья с теорией Пограничья.

Теория Приграничья подчеркивает: наряду с тем, что бодер-граница может сама по себе выступать предметом изучения (политические, административные, военные разделения), она обуславливает разнообразие всех других типов границ. Исследователю часто представляется, что граница является чем-то вторичным по отношению к самому пространству. Однако именно граница (бодер-граница) в теории Приграничья определяет все другие типы границ (баундари-границ).

Баундари-теория и фронтирные исследования

Вторым типом теории Пограничья является теория, которая в английском варианте получила название «Boundary theory». Ее основным операциональным понятием выступает «boundary-граница», а предмет Boundary theory определяется через такие категории, как предел, ограничение, грань между не только физическими характеристиками, но и воображаемыми, ментальными, ценностными категориями. Понятие «boundary-границы» прижилось в западных культурологических исследованиях (cultural studies), поскольку с его помощью удобно описывать процессы культурной диверсификации. По этой же причине Boundary theory граничит с теориями мультикультурализма, постколониальными исследованиями, гендерными и др., где поднимается вопрос культурных и гендерных различий. Культурная баундари-граница, как пишет Ф. Эрикссон, «отсылает нас к присутствию определенного типа культурного различия. ...Культурные баундари-границы – это характеристика всех типов человеческих обществ, как традиционных, так и современных. Бодер-граница – это социальный конструкт, политический по своему происхождению»¹⁰.

Таким образом, boder-граница указывает на властный порядок, а boundary-граница – на существование социокультурных различий. Категория баундари-границы (boundary) также достаточно часто используется в западной социологии при описании «организационных границ» фирмы или корпорации.

Для социальных исследователей, как справедливо подчеркивают М. Ламонт и В. Молнар в статье «Изучение баундари-границ в социальных науках», категория баундари-границы становится «близнецом концепта бодер-границы». Возобновление интереса к пограничным состояниям является продолжением классических подходов Э. Дюркгейма, выделившего категории «профанного» и сакрального, К. Маркса, разделившего общество на антагонистические классы, М. Вебера, рас-

смастривавшего этические ценности во взаимосвязи с экономическими. Баундари-граница в социологии переходит в границу не только между культурами, историями, но и в границу между символическими значениями (П. Бурдьё):

«Одна общая тема, которая проходит через всю литературу о баундари-границах, – это поиск понимания роли символических источников (концептуальных различий, интерпретативных стратегий, культурных традиций) в создании, поддержании, оспаривании и распаде институционализированных социальных различий (классовых, гендерных, расовых, территориальных неравенства). Чтобы прояснить для себя этот процесс, полезно будет прояснить различие между символическими и социальными баундари-границами. Символические границы – это концептуальные различия, производимые социальными акторами для определения целей, практик, людей и даже времени и пространства. Это инструменты, благодаря которым индивиды и группы борются и приходят к определениям реальности. Исследование их позволяет нам определять динамическое измерение социальных отношений, поскольку группы соревнуются в производстве, распределении и институционализации альтернативных систем и принципов классификаций. Символические границы также разделяют людей и производят чувства идентичности и группового членства (Erstein, 1992, p. 232). Они – сущностные медиаторы, благодаря которым люди приобретают статусы и монополизируют ресурсы»¹¹.

Еще один вариант Пограничья, который активно используется в истории, археологии, этнографии и антропологии, основан на анализе границ-фронтиров. Как пишет Б. Паркер, профессор ближневосточной истории и археологии, работающий на факультете истории университета штата Юта¹², вопросы изучения границ (frontier) в современной гуманитарной науке приобретают всеобъемлющий характер, но одновременно с этим Пограничье как теория ставит ряд сложных и трудно-разрешимых проблем:

«Последние попытки дать анализ направления, которое чаще всего называется “frontier studies”, акцентируют внимание на необходимости использования данной теории в рамках многих академических дисциплин и одновременно иллюстрируют интеллектуальные дебаты, разделяющие ученых внутри антропологии и между антропологией, историей и археологией (Anderson, 1996; Donnan and Wilson, 1994; Green and Perlman, 1985; Kopytoff, 1987; Lightfoot and Martinez, 1995; Parker, 2002; Parker and Rodseth, 2005; Rice, 1998; Rosler and Wendl, 1999; Wilson and Donnan, 1998). Несмотря на тот факт, что frontier studies – это фундаментальная область для самых разных академических направлений (географии, политической науки, истории, антропологии и археологии),

каждое из них создает свой собственный дискурс Пограничья и лишь изредка встречаются исследования междисциплинарного характера, представляющие интерес для всех (или исследования сравнительного характера). Хотя изучение границ – это уникальная кросс-дисциплинарная и межрегиональная возможность, только некоторые исследователи предлагают теоретические модели Пограничья, которые могут быть использованы вопреки пространственному, временному и дисциплинарному делению. Одна из причин этого – множество проблем, которые влечет за собой многофакторный анализ. Разнообразные источники, методологии, цели и теоретические построения – это только начало сложностей, заключаемых в междисциплинарном характере Пограничья. Эти же сложности актуальны и для археологии.

Один из эффектов постлинейной теории – стигматизация моделирования и дискредитация широкого сравнения. Однако если мы пытаемся понять механизмы культурных процессов, то должны вернуться к сравнительному исследованию внутри археологии и между археологией и другими дисциплинами. Но прежде всего мы обязаны задаться двумя вопросами. Первый – что даст междисциплинарное изучение границ и Пограничья и второе – как мы справимся с методологическими сложностями, которые возникнут при сравнительном исследовании?¹³

Б. Паркер опубликовал ряд книг и статей, связанных с Пограничьем как с теорией исследования фронта. Среди них: «На краю империи: концептуализируя границу Ассирийской Анатолии» (2002), «Механика империи» (2001), введение к книге «Неприручение границы в антропологии, археологии и истории» (совместно с Родсетом, 2005)¹⁴. Причем Б. Паркер активно использует в названиях своих книг термин «фронт». Задача его работы, как считает он сам, сравнение различных видов фронтов. Свою сравнительную модель Б. Паркер называет «Континуум динамики границ» (Continuum of Boundary Dynamics). Б. Паркер подчеркивает, что соотношение таких типов границ, как фронт и баундари-граница, можно рассматривать как соотношение частного понятия с родовым.

Frontier studies

Концептуализируя свою модель «Континуум динамики границ», Б. Паркер определяет «фронт» как тип баундари-границы. Фронт – это территория на краю культурного образования, место, где одна культура взаимодействует с другой. Фронты (frontiers) – «области между». Фронт – результат особых исторических обстоятельств или процессов, и поэтому он является уникальным социальным феноменом. Более того, поскольку фронт представляет собой результат взаимодействия различных факторов (географических, политических, демографических,

культурных и экономических, то это всегда максимально динамическая и часто нестабильная зона). По мнению Б. Паркера, «исследование фронтиров» (frontier studies) может заключаться в сравнении различных специфических фронтирных ситуаций, благодаря чему «мы сможем определить общее и особенное, а также построить модели, с помощью которых возможно будет понять природу баундари-процессов».

Б. Паркер в статье «К пониманию приграничных процессов»¹⁵ подробно останавливается на терминологии, чтобы не путаться с категориями границ в дальнейшем¹⁶. Самым общим понятием для всех видов границ, согласно Б. Паркеру, является категория баундари-границы. Оксфордский словарь определяет термин «баундари» как «то, что служит указанию границ и пределов чего-либо». Таким образом, баундари – общее понятие, обозначающее пределы различного рода¹⁷.

Наряду с общим понятием баундари как границы, Б. Паркер предлагает определения двух специальных типов границ – фронта и бодер-границы (frontier and border). Понятие бодер-границы в работах Б. Паркера – это разделительные линии, установленные в определенном месте для обозначения границ между политическими или административными образованиями. Чтобы пересечь бодер-границу, нужно выехать из одной страны и въехать в другую. В Европе такое пересечение обычно не вызывает особой сложности. Однако в некоторых случаях бодер-граница становится реальным препятствием для жителей соседних государств. Например, пересечение границы между белорусским Брестом и польским Тересполем, расположенными в километре один от другого, может занять почти сутки. Таким образом, возможность перемещений определяется открытостью/закрытостью границ.

Акцентируя внимание на состоянии бодер-границ, теория Приграничья в то же время тесно переплетается с теорией Пограничья, поскольку границы свободы и несвободы передвижения зависят не только от бодер-границ между государствами, но и от различной сегментации внутри страны. Так, например, в советский период такие бодер-границы существовали для колхозников с 1932 г. (после создания паспортной системы в СССР) – поскольку, не имея паспортов, они потеряли возможность покинуть свои деревни. В Северной Корее перемещение внутри страны еще до недавнего времени также было возможно лишь с разрешения местных властей. Историк А. Ланьков о бодер-границах в Северной Корее пишет следующее:

«...Жесткий контроль за передвижением населения. Для поездки за пределы родного уезда, т.е. района, требовалось специальное разрешение (теоретически это все еще существует). Разрешение оформлялось примерно так же, как в советские времена оформлялась поездка в Болгарию. Нужно было получить заверенное приглашение: у тебя дядюшка, и ты хочешь к нему съездить. Там сложная система, я опишу типичную ситуацию: в не совсем соседнем районе (нет общих границ) есть дядюшка, который хочет увидеть вас, любимого племянника. Он

посылает приглашение, заверенное в местном Управлении внутренних дел. Вы двигаетесь по треугольнику администрация-профком-партком. С этой бумагой вы идете во второй отдел местного муниципального совета. Они примерно неделю обсуждают, можете ли вы поехать к дядюшке, выдают вам бумажечку со штампом. И только с этой бумажечкой вы можете получить билеты и поехать в соседний район. Но это хороший случай. Потому что если вам хочется поехать в столицу революции – в город Пхеньян – или в приграничные районы, то там требуются более серьезные разрешения, которые утверждаются Пхеньяном, и ждать их нужно около месяца. Причем на протяжении большей части истории Кореи частным лицам эти разрешения не выдавались»¹⁸.

Л. Томпсон и Л. Ховард определяют фронтир как «зону глубокого проникновения между двумя различными народами»¹⁹. Причем, как отмечает Х. Элтон, фронтиры состоят из различных типов баундари-границ. На примере изучения Римской империи в книге «Фронтиры Римской империи»²⁰ Х. Элтон определяет фронтир как «зону наложения (но не совпадения) различного рода политических, экономических и культурных баундари-границ». Здесь фронтиром выступает сложная матрица накладывающихся баундари-границ.

Б. Паркер, отталкиваясь от определения Приграничья как географического пространства, в котором существуют фронтиры и бодер-границы, приходит к следующему определению: «Приграничье – это регион вокруг или между политическими и культурными целостностями, где географические, политические, демографические, культурные и экономические обстоятельства и процессы могут взаимодействовать, создавая бодер-границы и фронтиры».

«Континуум баундари динамики»

Конструируя это определение, Б. Паркер говорит, что бодер и фронтир состоят из различного типа баундари-границ (географических, политических, демографических, культурных и экономических). Он называет все виды баундари-границ баундари-набором или матрицей. В его концепции бодер и фронтир – два противоположных типа границ: первая (бодер-граница) – жесткая, статичная, линейная; вторая (фронтир) – мягкая, меняющаяся, зональная. Б. Паркер, выстраивая модель под названием «континуум баундари динамики», указывает на основную сложность анализа взаимодействия границ:

«Все разнообразие границ, измеряемое в континууме, слишком обобщено и поэтому модель может не улавливать всех нюансов приграничья. ...Я думаю, что важно не перегружать, не усложнять модель излишком категорий в континууме».

Паркер выделяет пять типов границ (баундари-границ):

- географическую (климат, природные особенности, экология, окружающая среда, природные границы: реки, горы);
- политическую (административное деление, политическая сегментация, военная власть, политическое доминирование, колонизация пограничья, «закрытие»/«открытие» фронта, перемещение фронта²¹);
- демографическую в широком смысле (взаимодействие этнических групп, численность населения, здоровье, гендерная классификация, демографические сдвиги, скрытая миграция, система поселений, характер этногенеза: слияние или фрагментация²²);
- культурную (лингвистическая, религиозная, артефактная, культурные практики);
- экономическую (производство, экосистема, вовлеченность мигрантов, транспорт, приграничная торговля, контроль).

Основная матрица баундари-границ постоянно изменяется, и поэтому один набор баундари накладывается на другой. Таким образом, приграничный процесс определяется как динамика взаимодействий внутри и между наборами баундари-границ и их характеристиками (статической, ограничивающей, пористой и жидкой).

«...Колонизация региона может менять этнический и лингвистический ландшафт в приграничье. Изменения в демографической динамике могут влиять на экономическую границу... следующий шаг – увидеть это взаимодействие во времени... и придать ему систематический характер...»²³.

Б. Паркер пытается произвести операционализацию Приграничья, которое находится возле политической границы. Как историка его интересуют культурные границы цивилизаций и их движение во времени. Как археолог, он операционализует фронтеры в качестве границы артефактов. Несмотря на то что фронтпр противопоставляется бодер-границе, он выступает как объективная категория исторического процесса. Фронтпр, в понимании Б. Паркера, – это преимущественно зона транзита, контактов, локального обмена между разными народами.

Таким образом, исходя из того факта, что области «frontier studies», «border studies» и «boundary studies» имеют свое собственное дискурсивное поле в каждой отдельной сфере знания, можно сказать, что целостной теории Пограничья не существует и ситуация здесь напоминает ситуацию в современной культурологии или этнографии, где общая теория складывается преимущественно из отдельных «case-study». Хотя в употреблении термины Приграничье и Пограничье часто меняются

местами, Пограничье значительно ближе к воображаемому, символическому и социальному измерениям. Но поскольку в современном мире любой тип границы все больше трансформируется от географической привязанности к внутренней границе, проходящей через пространство мысли, ценности, свободы, коммуникации, образования, постольку теория Приграничья все чаще начинает взаимодействовать с теорией Пограничья.

Метафора «поселения» и «пограничного столба»

Пограничье в любом типе исследований – будь то изучение бодер-границ, фронтиров или баундари-границ, – всегда связано с идеей «окончания», «предела» (*end, edge, limit*). **Этот предел может быть физическим, территориальным, а может – воображаемым, мыслимым, ценностным, историческим, социальным, культурным.** Варианты совпадения и наложения различного бодер- и баундари-границ подробно описаны в «2-Б модели Пограничья», речь о которой пойдет чуть позже.

Т. Лунден, профессор гуманитарной географии, директор шведского центра Балтийских и Восточно-Европейских исследований, указывает на тот факт, что романское *frontier* (от латинского *frons, forehead*) используется в английском языке для указания передовой или места конфронтации.

«В романских языках одно и то же слово *frontiere* приравнивается по значению к английскому *boundary* (баундари-граница) и немецкому *grenz*. Причем в немецком языке этот термин имеет славянское происхождение. Он становится известным из приграничья германского и славянского языков в юго-восточном Балтийском регионе. А слово *granizza* появляется в немецких текстах в связи с поселением Торна (современное Торун, Польша) с 1262 г. Приблизительно в одном и том же смысле употребляется в чешском, польском и русском языках»²⁴.

Интересные замечания к определению фронта мы находим у Ч. Майера. Он указывает, что в Северной Америке фронтир описывался как «место, где заканчивается поселение белых и начинается поселение коренных местных жителей». Там фронтир означал окончание культуры, цивилизации, социума, но он одновременно выступал и передовой, где велась война за освоение новых пространств. Он не только отделял цивилизацию от природы, но и межевал высокий и низкий уровни социального развития общества. В 1890 г. американские власти объявили о прекращении существования такого рода фронта, поскольку переселенцы заселили все континентальное пространство Соединенных Штатов.

«Американский фронтир означает окончание поселения. А европейский фронтир обычно разделяет народы. Когда европейцы пишут о фронтире, они подразумевают линию, где территория, населенная одним народом, урегулирована или урегулирует свои территориальные претензии с соседним народом. Метафорой американского фронтира могут выступать лес и прерия, а европейского – пограничный столб. Римляне оставили нам идею фронтира, которая подразумевает одновременно два значения – фронтир как конец их мира, империи, и как место, которое надо оборонять от чужаков, варваров. Это так называемые буферные зоны, колонии, охраняемые на бодер-границах. Результатом деятельности таких зон стал обмен. ...Римский термин *limes* означал окончание действия юрисдикции и более прогрессивной цивилизации»²⁵.

Фронтир как «окончание поселения» походит на устанавливаемую бодер-границу. Он указывает на отсутствие единых механизмов равноправного обмена и односторонний характер движения. Его вполне правомерно описывать через категории империя/колония.

Но фронтир может быть и пограничным столбом, отделяющим взаимно признающие друг друга национальные государства. Тогда он маркирует открытое коммуникативное пространство, в котором субъекты могут обмениваться различными ценностями.

Итак, фронтир является механизмом Пограничья, приобретающим в зависимости от характера границ разные формы – от равноправного обмена, основанного на правовых нормах, до колониального завоевания (возможны и различные смешанные варианты).

2-Б модель Пограничья

Еще один взгляд на проблему Пограничья, созданный участниками семинара О. Бреским и О. Бреской «От транзитологии к теории Пограничья: трансдисциплинарные инструменты деконструкции концепта Восточная Европа», позволяет добавить несколько новых элементов к уже имеющимся теоретическим представлениям. «2-Б модель Пограничья» получила свое название от двух видов границ – бодер- и баундари-границы. Бодер-граница используется в общепотребимом смысле как граница политического и властного характера. Но бодер-граница – еще и граница статусов субъектов. Таким образом, эта категория может вполне «работать» и в социологическом поле.

Баундари-граница – граница презентации субъекта.

Данная теория отошла от толкования Пограничья как территориального и географического образования и рассматривает границу скорее в смысле «грани», перехода, коммуникативного механизма, делая акцент не на внешних формах, а на

внутренних состояниях субъекта перехода. В теории «2-Б модель Пограничья» Погранижье концептуализируется как:

- 1) открытое коммуникативное пространство;
- 2) социальное пространство взаимодействия различного рода субъектов, определяемых через border- и boundary-границы; при этом border-граница – это граница и физическая, и статуса субъекта, а boundary-граница – это граница, которая одновременно указывает на радиус действия субъекта и на воображаемую линию, за которой его влияние истощается; это граница, которую субъект должен выстроить для обозначения собственного присутствия в публичном пространстве;
- 3) пространство, в котором действующим агентом является субъект, способный к самостоятельному выстраиванию механизмов согласования границ разной природы.

Теория «2-Б модель Пограничья» описывает Восточную Европу как конфигурацию разнообразных субъектов, которые не могут быть рассмотрены в качестве единого целого. Поэтому теория Пограничья отказывается от методов, годящихся для анализа целостных и субстанциальных явлений. Холистические неудачи в описании Восточной Европы свидетельствуют, что Восточная Европа может быть описана лишь как пространство Пограничья, т.е. как бесконечное разнообразие, требующее выстраивания механизмов согласования и упорядочения, основывающихся на поддержании практик субъектов и одновременного их включения в большое пространство. Употребляемое в таком смысле «Погранижье» становится универсальной категорией, которую возможно применять не только к региону Беларусь – Украина – Молдова, но и к любому государству (и к сфере любых публичных отношений). Теория «2-Б модель Пограничья» в первую очередь представляет собой универсальную междисциплинарную теорию, которая помогает осуществлять анализ отношений между субъектом и его социальным статусом, комьюнити и ее формальной организацией, ценностью и ее институционализацией.

Основными категориями «2-Б модели Пограничья» становятся понятия border-границ, border-пространства и boundary-границ, а также – субъектоспособности (индивидуальной и социальной), которая выступает как свойство субъекта презентовать себя в публичной сфере и является условием участия субъекта в публичных отношениях. Кроме того, *субъектоспособность* определяется как способность лица или сообщества производить эффект границы, служащей основанием и механизмом для взаимодействия с внешним миром, обозначать себя для мира самостоятельно и предлагать собственное имя. При этом субъектом в теории «2-Б модели Пограничья» называется такая форма существования, «которая одновременно отвечает всем пяти указанным условиям: 1) может репрезентовать себя в публичной сфере, 2) эти репрезентации получают легитимацию, что позволяет 3) субъекту институционализировать свои практики и, в свою очередь, вынуждает 4) обеспечивать конвергентность его нормативной системы с другими нормативными системами.

Пятое и ключевое условие, в целом не зависящее от действий субъекта, – наличие среды для протекания подобных процессов, т.е. собственно border-пространства»²⁶.

Примечания

- ¹ «Беларусь уже второе столетие борется за свою долю и поэтому никак не может встретить свою судьбу». (См.: Бобков, И. Этика Пограничья).
- ² Там же: «Как цельная и полная, белорусская культура может *состояться* – в сегодняшних условиях как *культура пограничья*, как культура внутренней разграниченности, встречи и перехода отличных (разнонаправленных, конфликтных) культурных частей».
- ³ Наиболее заметная дискуссия в Беларуси разворачивалась на страницах журнала «Перекрестки» и в сборнике статей «После империи: исследования Восточноевропейского Пограничья».
- ⁴ В рамках ассоциации ABS выпускаются научный журнал «Journal of Borderland Studies» и газета «La Frontera» на английском языке.
- ⁵ Heewon Chang. Re-examining the Rhetoric of the «Cultural Border» Electronic Magazine of Multicultural Education. 1999. Vol. 1. No. 1 <http://www.eastern.edu/publications/emme/1999winter/chang.html>
- ⁶ Erickson, F. Culture in society and in educational practice / F. Erickson; J.A. Banks and C.A.M. Banks (eds.) // Multicultural education: Issues and perspectives. Boston, 1997. P. 32–60.
- ⁷ Приграничье (Borderland) определяется в Оксфордском словаре как «земля или район на или около бодер-границы двух стран».
- ⁸ См. работы:
Alvarez, R.R. The Mexican-US Border: The Making of an Anthropology of Borderlands / R.R. Alvarez // Annual Review of Anthropology. 1995. № 24. P. 447–470.
Alvarez, R.R. Toward an Anthropology of Borderlands: The Mexican-U.S. Border and the Crossing of the 21st Century / R.R. Alvarez // Frontiers and Borderlands: Anthropological Perspectives, edited by M. Rosler and T. Wendl. 1999. P. 225–238.
Peter Lang; Donnan, Hastings, and Thomas M. Wilson (editors). Border Approaches: Anthropological Perspectives on Frontiers. University of America Press, 1994.
Flynn, Donna K. «We Are the Border»: Identity, Exchange, and the State along the Benin-Nigeria Border // American Ethnologist. 1997. № 24. P. 311–330.
Hansen, Niles. The Border Economy: Regional Development in the Southwest. University of Texas Press, 1981.
Martinez, Oscar J. Border People: Life and Society in the U.S.-Mexico Borderlands. University of Arizona Press, 1994.
Rosler, Michael, and Tobias Wendl (editors). Frontiers and Borderlands: Anthropological Perspectives. Peter Lang, 1999.
Wilson, Thomas M., and Hastings Donnan (editors). Border Identities: Nation and State at International Frontiers. Cambridge University Press, 1998.
- ⁹ Колосов, В. Теоретическая лимология: новые подходы [Электронный ресурс] / В. Колосов. Международные процессы. Режим доступа: <http://www.intertrends.ru/three/004.htm>

- ¹⁰ Erickson, F. (1997). Culture in society and in educational practice / F. Erickson; J. A. Banks and C.A.M. Banks (eds.) // Multicultural education: Issues and perspectives. (pp. 32-60). Boston, MA: Allyn and Bacon. P. 42.
- ¹¹ Michele Lamont, Virag Molnar. The Study of Boundaries in the Social Sciences // Annual Review of Sociology. 2002. P. 167.
- ¹² С 1990-х гг. Б. Паркер занимается археологическими раскопками в устье Верхнего Тигра южновосточной Турции.
- ¹³ **Bradley, J. Parker. Toward an Understanding of Borderland Processes // American Antiquity. Volume: 71. Issue: 1, 2006.**
- ¹⁴ «At the Edge of Empire: Conceptualizing Assyria's Anatolian Frontier» (Parker, 2002), The Mechanics of Empire (Parker 2001) and the introduction to Untaming the Frontier in Anthropology, Archaeology, and History.
- ¹⁵ Bradley, J. Parker. Toward an Understanding of Borderland Processes // Journal article by Bradley J. Parker; American Antiquity. Vol. 71. 2006.
- ¹⁶ Несмотря на тот факт, что тематика Пограничных исследований появилась еще в 50-гг XX в. в США, наиболее активное применение категорий теории Пограничья и расширение дисциплинарного поля стало осуществляться с 1990-х гг. По этой причине работа с основными понятиями остается актуальной до сегодняшнего дня в Западной Европе и США.
- ¹⁷ Такую терминологию Паркер предлагает, основываясь на взглядах Anderson, 1996; Jones, 1959; Barth, 1969; 1994; Cohen, 1985; 1994; Rosler и Wendl, 1999.
- ¹⁸ Публичная лекция А. Ланькова «Естественная смерть корейского сталинизма» [Электронный ресурс] / Полит.ру. – Режим доступа : <http://www.polit.ru/lectures/2007/02/22/lankov.html>
- ¹⁹ **Thompson, Leonard, and Howard, Lamar. Comparative Frontier History. In The Frontier in History: North America and Southern Africa Compared, edited by H. Lamar and L. Thompson, pp. 3-13. Yale University Press, New Haven, 1981.**
- ²⁰ Elton, Hugh. Frontiers of the Roman Empire. Indiana University Press, Bloomington, 1996.
- ²¹ Aron, Stephen. The Meetings of Peoples and Empires at the Confluence of the Missouri, Ohio, and Mississippi Rivers. In Untaming the Frontier in Anthropology, Archaeology and History, edited by B. J. Parker and L. Rodseth. P. 174–202. University of Arizona Press, Tucson, 2005.
- ²² См.: Матусевич, Е.В. Плюралистические модели сосуществования этнических групп в пространстве пограничья: методологический статус / Е.В. Матусевич; под ред. И. Бобкова, С. Наумовой, П. Терешковича // После империи: исследование восточно-европейского пограничья: сб. статей. Вильнюс, 2005. С. 54–62.
- ²³ См.: **Bradley, J. Parker. Toward an Understanding of Borderland Processes. / Journal article by Bradley J. Parker; American Antiquity. Vol. 71. 2006. P. 10.**
- ²⁴ Lunden, Thomas. On the Boundary: About humans on the end of territory. Stockholm, 2004.
- ²⁵ Maier, Charles S. Does Europe need a frontier? From territorial to redistributive community // Jan Zielonka. Europe Unbound: Enlarging and Reshaping the Boundaries of the European Union, Routledge, 2002.
- ²⁶ М. Мамардашвили в книге «Как я понимаю философию» писал, что существование «публичного пространства является условием... мысли. Оно существует не для того, чтобы кому-то досадить, кого-то огорчить или обрадовать. Мысль существует

Ольга Бреская

только в исполнении, только в пространстве, не занятом никакими предрассудками, запретами и т.д.». То же самое можно сказать о возможности или невозможности для субъекта выстраивать презентации в публичном пространстве. Механизмами и условиями построения презентаций являются правовая система, свобода и творческая атмосфера гражданского общества.

КЛАДБИЩЕ И СТОЛ*

На сегодняшний день польская антропология пограничья представлена двумя активно функционирующими подходами. В рамках первого «пограничье» описывается в категориях *конца* – «kresy», «skraj», «border»; *фронтира* – «frontier»; *границы как черты, разделяющей территории*, – «confines» и «boundary», и предполагает существование ассимиляционной, конфронтационной либо взаимодействующей форм соседствующих национальных групп. В рамках второго подхода «пограничье» осмысливается как «*символическое целое*», зона «*между*», создающая собственный вид культуры, определяемый понятиями *ситуативность*, *переходность* и *неразличимость*.

Книга Юстины Страчук¹ «*Кладбище и стол. Православно-католическое пограничье в Польше и на Беларуси*» представляет собой второй подход и впервые в польской и белорусской антропологии описывает «пограничье» в контексте практик, связанных с питанием и смертью. Объектом ее исследования становятся «*пространство деревенских кладбищ*», «*являющееся указателем существования религиозных границ (деление кладбищ на католические и православные)*» (с. 9) и «*общность стола*», демонстрирующая принадлежность к «своим» и «чужим» при распределении пищи (с. 10).

Структурно книга «Кладбище и стол...» поделена на две части. Первая (теоретическая) представлена разделом «*Понятия, исследовательские проблемы, территория и метод*», где дается анализ основных подходов к изучению «пограничья», «этничности» «мультикультурализма» и описывается методология иссле-

* Straczuk, J. Cmentarz i Stół. Pogranicze prawosławno-katolickie w Polsce i na Białorusi / J. Straczuk. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006.

дования. Как отмечает здесь автор, главной целью работы было отражение ситуации «в конфессионально смешанных деревнях» «на православно-католическом пограничье по обе стороны от польско-белорусской границы» (с. 39). Белорусские материалы были собраны в рамках двух проектов – практик студенческой лаборатории, возглавляемой Анной Энгелькинг, в 1993–2001 гг. и самостоятельных исследований в католических деревнях Паперня и Роубы и конфессионально «смешанной» деревне Радивонишки в 1999–2001 гг. (с. 40). Сбор материалов в Польше проводился в «смешанной» православно-католической деревне Тополяны и православной деревне Патока в 1999–2001 гг. (с. 43–44). Информация собиралась через интервью, представлявшие собой «включенное наблюдение» (с. 46–54).

Вторая (эмпирическая часть) состоит из двух разделов – «Кладбище и формы памяти. О динамике религиозных границ» и «Общность стола. Об интеграционных свойствах питания». Первый фокусирует внимание на проблеме изучения практик погребения/поминовения в антропологии, описании различий в ритуальной обрядности католиков и православных, анализе пространства кладбищ в исследуемом районе. Однако новым и важным для раскрытия темы является, пожалуй, лишь последнее. Это отмечает и сама Ю. Страчук, признавая пространство кладбищ «текстом культуры» (Я. Колбушевский), свидетельствующим о типах связей, ценностях и взаимоотношениях в локусе. Именно оно показывает наличие/отсутствие конфессиональных различий как основания для отдельного/совместного захоронения членов семьи (с. 55–59). Главными выводами автора можно считать утверждения, что: 1) на протяжении последних десятилетий произошла смена формы памяти об умершем (постепенная индивидуализация и расширение круга поминаемых близких): «Люди, родившиеся перед войной, в лучшем случае помнят имена своих дедов, но ухаживают только за могилами родителей и супругов. Послевоенное поколение навещает... могилы своих дедов, а самое молодое поколение – также и прадедов» (с. 72–73); 2) пространство кладбищ отражает ситуацию «пограничья»: т.е. существования общих (для православных и католиков) родовых захоронений, одновременного использования русского и польского языков в надгробных надписях (с. 144), поскольку: 3) родовая принадлежность умершего доминирует над его религиозной принадлежностью (с. 143–144).

Второй раздел исследует историографию антропологии питания, место пищи в системе традиционной культуры и анализирует практику «дарения» пищи как маркер социальных и этнических связей. Он завершается следующими выводами автора: 1) интеракции в традиционном обществе выстраиваются вокруг процессов «дарения»/распределения продуктов (с. 207); 2) в описываемом регионе присутствует равнозначность католических и православных сакральных блюд, двойное празднование сакральных дней и разделение ритуальной пищи в кругу близких родственников и соседей, а не единовременцев (с. 242–243); 3) в последние годы наблюдается исчезновение традиционной культуры и связанного с ней функциони-

рования пищи как средства установления и поддержания взаимозависимости между родственниками и соседями (с. 241).

Книга завершается общими выводами, объединенными заголовком «*Переходность, ситуативность и ступенчатость пограничья*», где говорится о том, что: 1) описываемые деревни принадлежат к «пограничью»: как в пространстве кладбищ, так и в практиках «дарения» пищи происходит (часто неосознаваемое) смешение двух культурных традиций; 2) «пограничье» имеет внутреннюю структуру, локализация в которой зависит от культурной «компетентности» жителей (первый уровень: «далекое соседство» – низкий уровень компетентности и возможности участия в практиках другой культуры; второй уровень: «близкое соседство» – высокая компетентность и способность участвовать в практиках иноверцев; третий уровень: «семья» – полная компетентность и участие во всех практиках двух религий (с. 248–249); 3) в последние десятилетия наметилась тенденция к отходу от традиционных (коллективных) практик.

В целом работа Ю. Страчук представляет собой попытку описания пограничья на основе собранного эмпирического материала. Но как и во многих исследованиях, строящихся на открытых интервью, в «Кладбище и столе...» не выдерживается симметрия выборки. Так, две из пяти выбранных для изучения деревень (Роубы и Патока) моноконфессиональны и моноэтничны, а потому не иллюстрируют ситуацию «смешения»; 19 респондентам, опрошенным в Польше, противопоставляются 116 в Беларуси (или же 97 католиков сравниваются с 38 православными). Достаточно спорным представляется и главный вывод книги, в котором утверждается, что примеры «смешанных» деревень демонстрируют ситуацию «пограничья», где культурная «компетентность», вытекающая из кровно-соседских связей, нивелирует конфессиональные различия. Большинство респондентов Ю. Страчук – это старшее поколение крестьян, мыслящих категориями традиционного общества. Поэтому многочисленные интеракции в деревне следует объяснять именно логикой традиционного сознания. Погребение осуществляется всей деревней, поскольку этим действием «свои» (живые) «отграничивают» себя от «иных» – умерших. Чтобы обезопасить себя от возвращения смерти в деревню, необходимо включить механизм «взаимной невидимости» (О. Седакова): живые не видят мертвых, мертвые не видят живых. Схожий практицизм свойственен и «делению» пищи. Этот механизм «циркуляции даров» (М. Мосс) основан на конкретной мотивации: в испытывающей нехватку еды деревне «обмен» пищей был гарантией ее наличия в течение всего аграрного года. Поэтому ортопраксические (тем более ортодоксальные) расхождения имеют достаточно формальный характер для ситуации пограничья.

Тем не менее книга «Кладбище и стол...» заслуживает внимания как работа, вводящая новые перспективы исследования культуры пограничья (через изучение пространства кладбищ и ритуальные интеракции в локусах). Написанная с привлечением американской и европейской историографии, работа Ю. Страчук расширяет теоретическую базу польской и белорусской антропологии.

Примечание

- ¹ Юстина Страчук окончила факультет полонистики и этнологии Варшавского университета, Школу гуманитарных наук Института философии и социологии Польской Академии наук. В настоящее время – адъюнкт Института социологии Высшей школы социальной психологии в Варшаве. С 1993 г. проводит этнографические исследования на белорусско-литовско-польском пограничье. Автор многочисленных статей, посвященных тематике пограничья, и книги «Język a tożsamość człowieka w warunkach społecznej wielojęzyczności» (1999).

НАШИ АВТОРЫ

Ольга Бреская – белорусский социолог, кандидат социологических наук, доцент Брестского государственного университета. Стипендиат CASE.

Олег Бреский – кандидат юридических наук, доцент Брестского государственного университета. Стипендиат CASE.

Татьяна Володина – российский историк, доктор исторических наук.

Иоанна Гетка – польский историк и культурный антрополог. Занимается этнологией и культурной антропологией польско-белорусского пограничья.

Лешек Колаковски – легендарный польский философ, критик советского тоталитаризма, автор многочисленных философских и литературных текстов.

Алла Комзолова – российский историк, доктор исторических наук.

Алесь Смоленчук – белорусский историк, доктор исторических наук, занимается историей национальных движений на пространстве бывшей Речи Посполитой.

Эва Томпсон – американский теоретик и историк культуры польского происхождения. Занимается проблемами восточно-европейской культуры в контексте постколониальной теории.

Анатолий Трофимчик – кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и истории Барановичского государственного университета. Стипендиат CASE.

Сергей Харитонович – белорусский политолог, доцент Брестского государственного университета. Занимается проблемами политической и культурной идентичности пограничья.

Ольга Шаталова – белорусский историк, антрополог. Стипендиат CASE.

ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК (CASE) ПРИ ЕВРОПЕЙСКОМ ГУМАНИТАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Центр перспективных научных исследований и образования в области социальных и гуманитарных наук (CASE) при Европейском гуманитарном университете создан в 2003 г. при финансовой поддержке Корпорации Карнеги в Нью-Йорке и административном содействии Американских Советов по международному образованию ACTR/ACCELS и Американского центра по образованию и исследованиям.

Основной целью деятельности CASE является содействие обновлению системы научных исследований и образования в области социальных и гуманитарных наук, развитию профессионального сообщества, а также мобилизации интеллектуальных и профессиональных ресурсов для изучения процессов социальных трансформаций в Пограничье Центрально-Восточной Европы (Беларусь, Украина, Молдова).

Задачами центра являются:

- Интенсификация научных исследований в области социальных трансформаций в регионе Пограничья (Беларусь, Украина, Молдова);
- Накопление и распространение информации о научных исследованиях и учебно-методических разработках в области социальных трансформаций в регионе Пограничья;
- Координация научных исследований по важнейшим проблемам и направлениям, соответствующим профилю центра;

- Организация продуктивного научного диалога между исследователями и преподавателями региона по проблемам социальных трансформаций в регионе Пограничья;
- Создание сети партнерских образовательных и исследовательских учреждений в Беларуси, Украине, Молдове;
- Создание и развитие информационной базы для проведения исследований по проблематике центра;
- Содействие мобильности региональных и зарубежных исследователей, вовлеченных в работу центра.

Основные виды работ CASE:

- Проведение конкурсов для аспирантов и докторантов на получение стипендий для проведения исследований по проблематике CASE;
- Осуществление образовательных программ для стипендиатов CASE;
- Проведение региональных исследовательских семинаров и международных конференций;
- Издание научного ежеквартальника «Перекрестки»;
- Издание сборника работ стипендиатов CASE;
- Издание монографий по проблематике CASE;
- Создание и апробация учебных, учебно-методических материалов, а также инновационных технологий обучения стипендиатами центра;
- Создание библиотеки CASE.

Тематические приоритеты CASE:

- Теории и модели Пограничья в современных гуманитарных науках;
- Исторические и этнокультурные контексты формирования Пограничья (Беларусь, Украина, Молдова);
- Трансграничная, межрегиональная и транснациональная кооперация в Пограничье;
- Политические и правовые трансформации в условиях Пограничья (Беларусь, Украина, Молдова);
- Беларусь, Украина, Молдова в контексте европейской интеграции: противоречия и преимущества Пограничья;
- Пограничье и проблемы европейской безопасности;
- Национальная идентичность в условиях Пограничья;
- Социальная роль образования и культуры в условиях трансформации (Беларусь, Украина, Молдова);
- Регионы Пограничья в условиях глобализации.